

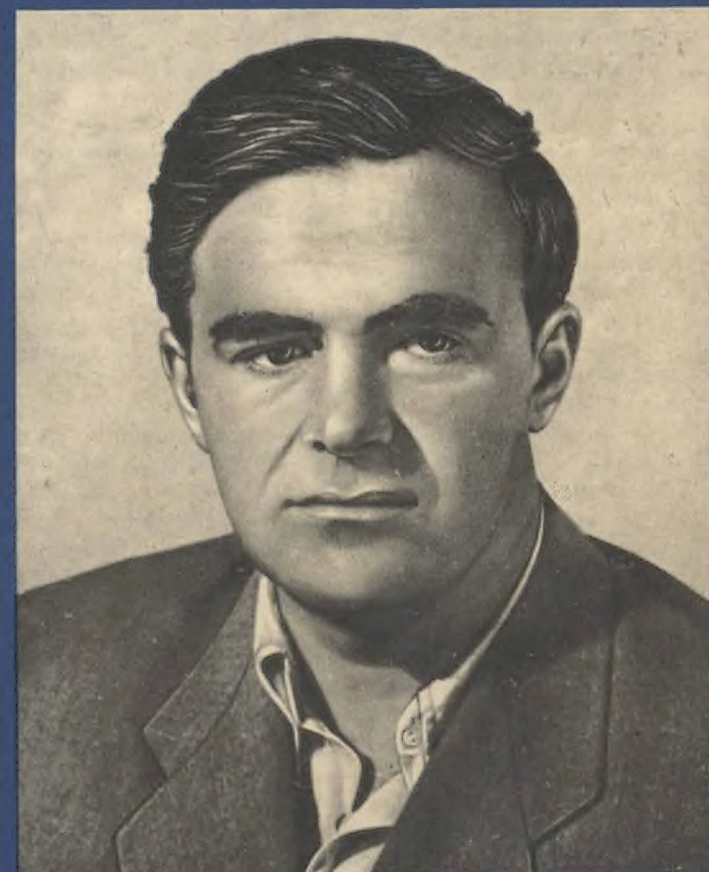
2 р. 15 к.

ГОСЛИТИЗДАТ
1959

14

РОМАН *поземта*

№6 (186) 1959



Даниил Гранин
ПОСЛЕ СВАДЬБЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА

Даниил Гранин

ПОСЛЕ СВАДЬБЫ

РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Комната имела двадцать два квадратных метра. Пять метров в длину и четыре сорок в ширину. Комната имела высокое окно на проспект Стачек, прочную дверь, крашенную матово-белой краской, батарею парового отопления у подоконника. Но главным ее достоинством были стены. Ни сияющий белизной потолок с лепным кружком посредине, ни глянцевая желтизна паркета не доставляли столько радости, как эти четыре толстые, звукопроницаемые стены. Они каменной грудью защищали от чужих взглядов, разрешали прыгать, дурачиться, болтать всякую чепуху, смотреть друг другу в глаза.

Это была еще совсем молодая комната. Она дышала банной сыростью свежей штукатурки, запахами олифы и клея. Она еще ворочалась, поудобнее устраиваясь на долгую жизнь. По ночам, подсыхая, трещали обои; возле батареи, поскрипывая, съезжался паркет.

Взявшись за руки, они отправлялись в путешествие. Они шли долго, петляя, возвращаясь, останавливаясь. Их путь начинался от угла, где стояла узкая железная кровать. Игорь получил ее под расписку у коменданта общежития. Они бранили ее за визгливый и жесткий нрав и тут же смеялись над своей злостью и стыдливо меч-

тали отделаться от нее и поставить сюда новую широкую кушетку. Кушетка будет синей — под цвет обоев. Самый лучший цвет — это синий. Им повезло с обоями. Им повезло, что комната на четвертом этаже, и что новый дом, и что они вообще получили эту комнату.

Рядом с этажеркой на обоях темнел подтек — след от шампанского, неумело открытого Геней Рагозиным. Можно заслонить пятно этажеркой, но Тоня не хотела этого делать. Пусть остается на память о новоселье.

Они останавливались перед платяным шкафом. Игорь привинтил к нему прозрачно-розовые пластмассовые ручки, и облезлый шкаф повеселел. Внутри он выглядел совсем прилично. Половину с полками Тоня использовала вместо буфета, застелила вырезанными из бумаги салфетками, расставила аккуратно несколько чашек, кульки с крупой.

За этим шкафом Тоня утром одевалась. Открытая дверца служила ширмой. На всякий случай Тоня приказывала Игорю лежать с закрытыми глазами. Второй месяц пошел после свадьбы, а все никак ей не привыкнуть, и так, наверное, и не привыкнет. Нетерпеливо натягивала непослушное платье, краснея при мысли о том, что Игорь может увидеть ее такой. Лучше кто угодно, чем он. А вообще смешно: выходит, что

Даниил Александрович Гранин родился в 1919 году. Все в его биографии просто и ясно, как, впрочем, у многих его ровесников — у поколения, которое росло вместе с советской властью.

Учился в школе, был пионером, а потом — комсомольцем. Любил технику и знал в лицо знаменитых футболистов, с азартом сам гонял мяч и по ночам на крохотном самодельном радиоприемнике ловил позывные Валерия Чкалова, пересекавшего Северный полюс.

Перед войной Д. Гранин закончил Ленинградский политехнический институт с дипломом инженера-электрика. Работал на прославленном заводе им. С. Кирова (бывший Путиловский). Когда началась война — ушел добровольцем на фронт. Воевал под Ленинградом, в Прибалтике — солдатом, политработником, командиром танковой роты. В 1942 году вступил в ряды Коммунистической партии. Кончилась война — Д. Гранин вернулся в Ленинград, инженером-электриком в научно-исследовательский институт.

В литературу Д. Гранин пришел в 1949 году. Ему, инженеру, научному работнику, хотелось рассказать о тех людях, с которыми он работал, которых хорошо знал, — о молодых ученых, их смелых дерзаниях и поисках. Он пишет о том, что его волнует, — о борьбе направлений в науке, о борьбе с косностью и рутинной, за технический прогресс (рассказ «Вариант второй», повесть «Спор через океан»). В 1951 году в «Молодой гвардии» вышла повесть «Ярослав Домбровский», рассказывающая о легендарном полководце Парижской коммуны, переизданная позднее в ряде стран, в том числе и во Франции.

Продолжая работать инженером, а затем учась в аспирантуре, Д. Гранин пишет очерки о строителях Куйбышевской ГЭС «Новые друзья» (1952), рассказы, а в 1954 году заканчивает свой роман «Искатели», хорошо принятый читателями.

В этих разных по жанрам произведениях определилось направление гранинского дарования, мужественный оптимизм его творчества. Писатель всегда открыто заявляет о своих симпатиях, вместе со своими героями он борется против тех, кто пытается в корыстных целях помешать нам создавать новую красоту жизни. Герои Д. Гранина — скромные, порою незаметные люди, преданные делу. Люди большого душевного богатства, подкупающие чистотой мыслей и чувств. Они и есть настоящие герои жизни. Таким запомнился обаятельный образ Андрея Лобанова, отстаивающего передовое в науке и справедливость в человеческих отношениях.

Роман «После свадьбы», опубликованный в 1958 году, с новой стороны раскрывает возможности Гранина-художника. Это роман о комсомольцах наших дней, молодых рабочих, инженерах. Жизнь манит их неизведанными далями и путями-дорогами, она сталкивает их с непредвиденными трудностями, ставит перед ними неожиданные задачи, которые надо решать самостоятельно и честно.

Вот Игорь и Тоня Малютины. Они только что поженились. Сыграли свадьбу. Получили комнату. И вдруг выясняется, что Игорь должен по путевке комсомола ехать в деревню. Почему должен? Ведь он работает над новым станком «Ропогом». Неужели ему надо бросить завод, чертежи, родной город?.. Перед героями романа возникает много непростых вопросов. И писатель стремится проследить, как, какими путями идут Вера Сизова, Игорь Малютин, Геннадий Рагозин к пониманию своего места в жизни. Они встречают трудности, порой заблуждаются, совершают ошибки, но постепенно исправляют их и вырабатывают свое отношение к товарищам, к труду, к общественному долгу.

В обостренном внимании к душевным переживаниям, к психологии героев, в глубине раскрытия их внутреннего мира и состоит на наш взгляд особенность нового романа Д. Гранина — романа об устремлениях, мыслях и чувствах нашего современника.

В. Фролов

показаться в рубашке перед любым другим мужчиной не так стыдно, как перед Игорем.

Напротив шкафа висело зеркало. Перед ним Тоня причесывалась, и тут ей было приятно, если Игорь смотрел на нее. Волосы спадали до плеч; когда она закидывала их на глаза, то ничего не видела, только сразу попадала в коричнево-легкие сумерки... Ей нравилось придумывать себе новые прически. Волосы у нее были очень послушные — достаточно намотать прядь на палец, и готов локон. Она то причесывалась на строгий пробор, то укладывала девчачьи косички, то взбивала пышное облако, и всякий раз лицо приобретало другое выражение, только по-прежнему блестели ярко-коричневые глаза.

Посреди комнаты стоял покрытый новенькой клеенкой низкий кухонный столик. Сидеть за ним приходилось боком, иначе некуда девать ноги.

Убогость этой мебели лишь веселила их. Она настолько явно не подходила к этой прекрасной комнате, что не могла испортить ее праздничного великолепия. А вообще им было наплевать на эту обстановку и на всякую обстановку, им достаточно самой комнаты, ее голубых стен, ее сияющего паркета.

За платяным шкафом начинались пустынные, неосвоенные пространства. Там по катку паркета скользили желтые прямоугольники зимнего солнца, там весело урчала батарея отопления, там можно было взять Тоню на руки и закружиться. Неутихающее возбужденное удивление носилось вместе с ними по необжитой пустоте этой половины комнаты. Что здесь будет стоять, где, когда — неизвестно. Эта половина принадлежала загадочному, но наверняка великопленному Будущему. Пока что они принимали ее простор как лучшее украшение комнаты.

Тоня повисала на руке Игоря и остаток пути тащила медленно, прикидываясь усталой. На подоконнике устраивался привал. Они садились по обе стороны от завернутой в рогожку корзины астр. Ее притащили на новоселье Тонины подружки. Последние лепестки пожухли, сморщились, и от цветов сочился запах тлена.

Постукивая наблуками о горячую батарею, они любовались уходящей вдаль перспективой. Комната представлялась им громадной, волшебным дворцом, неслышанно обширной страной, полною надежд и радостей. Ее стены еще не слышали ни одной ссоры, ни плача, ни горя. В ней начиналось все заново и все будет по-особенному, не похоже ни на что. Благодаря ей они наконец очутились вместе. С чего бы ни начинался их разговор, он обязательно сводился к этому непостижимому, потрясающему... Они никак еще не могли освоиться с тем, что у них есть своя комната, что они муж и жена. Не нужно часами стоять в грязном подъезде, где пахнет кошками, досадуя на яркую лампочку; смущенно отстраняться, слышав шаги на лестнице; не нужно прощаться, когда

нет никаких сил расцепить руки. Теперь это стало далеким прошлым, но почему-то новизна случившегося не исчезала. Она подстерегала их на каждом шагу, и Тоня сама ненасытно черпала ее отовсюду. Беспричинная улыбка блуждала по ее лицу, когда она поднималась в кабине лифта. Входя в ванную, она восхищенно гладила рукой светло-зеленый кафель.

«Это все наше, мое. Каждая шашечка паркета моя. Мой подоконник, мое окно. Я сама его буду замазывать, заклею бумагой и между рамами положу вереск...»

С работы она забегала в универмаг, бродила между полированными буфетами, присаживалась на раскидистую плюшевую тахту, поглаживала ее. На прилавках лежали цветистые коврики, полосатые дорожки, огромные, тяжелые, мохнатые ковры. Женщины рассматривали на свет тюлевые занавески. Рабочие распаковывали ящики, и оттуда, сверкая эмалью и никелем, появлялись стиральные машины, белые кубы холодильников. Посудный отдел горел и сверкал серебристыми бликами кастрюль, бидонов; хищно блестели терки, дуршлага, ножи... Тоня могла часами разглядывать сервизы, прицениваясь к вазочкам, вертеть какие-нибудь мясорубки. Она не подозревала, что на свете существует столько превосходных вещей и что все они совершенно необходимы. Она мысленно украшала ими свою комнату, расставляла их на кухне. Количество необходимых вещей удручало ее. Не было никакой возможности хотя бы в ближайшие месяцы приобрести все это. Она ругала себя за жадность, называла себя мещанкой, обывательницей, ведь она доказывала Игорю и себе, что им ничего не нужно. И действительно была счастлива в своей пустой, неустроенной комнате. Ей даже нравилось свое пренебрежение ко всяким «шмуткам». Но, попадая в магазин, в окружение сверкающих новизной вещей, она забывала обо всем, возбужденная желанием иметь все эти красивые вещи. Не для себя — для дома. Она готова была отказывать себе в еде, в платьях, экономить на всем. Соблазн был слишком велик, она не могла удержаться и всякий раз покупала какую-нибудь мелочь. Непредвиденные приобретения нарушали все расчеты и планы, зато она испытывала ни с чем не сравнимое удовольствие, идя по улице с пакетами, свертками, а самое главное — дома, когда все это с шумом вываливалось на стол.

— Отгадай, что купила?

Обнимая Игоря и тихо смеясь, она терлась холодным носом о его лицо. Капли талого снега летели с ее волос, с меховой ушанки.

Он никогда не видел, чтобы она душилась, но всегда от нее исходил какой-то особый аромат, непохожий на обычные духи, которые он дарил ей.

Не снимая пальто, она принималась разворачивать свертки. Сегодня в первом оказались ве-

шалки. Три вешалки. Для платьев и костюма. Абсолютно необходимо. Без них в шкафу все мнется. Она заставила Игоря проверить прочность крючков, грозно нацелилась в него, делая вид, что натягивает перекладинку вешалки, как тетиву лука. Ему никогда не приходило в голову, что вешалка действительно похожа на лук. Его поразило воображение Тони. В любом предмете она умудрялась найти совершенно неожиданное. Как-то в Зоологическом саду, стоя у клетки с медведями, она принялась уверять Игоря, что, с точки зрения медведей, за решеткой находятся люди, и медведям показывают людей...

Второй пакет — огромный, воздушно-легкий — она развязывала торжественно, медленно. Шелковый купол абажура оранжево запылал среди обрывков бумаги. Игорь вспомнил, как еще вчера Тоня уверяла, что покупать абажур — это роскошь, его можно сделать самим из цветной бумаги. Но сейчас, видя счастливое лицо Тони, ее блестящие от смеха глаза, он убеждался, что абажур действительно хорош и не купить его было нельзя.

Она захотела немедленно повесить его. Игорь прищурился. Не стоит, он сообразит подвесочку с блоком — так, чтобы можно было поднимать и опускать абажур, — тогда полный шик!

Разогревая обед, она все еще продолжала думать о покупках. Здесь, на кухне, ей вдруг показалось, что следовало купить не абажур, а белую эмалированную кастрюльку с черным ободком. Как бы чудесно выглядела такая кастрюлька на газовой плите. Мужчины неспособны испытывать удовольствие от мягкого шипения синих венчиков газа, от скрипа мокрых тарелок под мочалкой...

Она работала быстро и неумело. Чуть не обварила кипятком. Трр-ах — отлетел краешек блюдца, — каждый день с ней случалась какая-нибудь беда. И все же ей было весело. В общезжитии тоже был газ и мытье посуды, но там почему-то все не то. Здесь она жила в ощущении необычайного счастья обладания этой комнатой, кухней, куда не заглянет комендант, где все, что есть, — ее собственное. Командовать в маленькой, чистенькой кухне, варить, жарить, покупать, вырезать из бумаги зубчатые полукружия салфеток — все эти радости еще не стали привычными.

Сразу после свадьбы ее подхватил веселый поток неожиданных открытий. Раньше оба они чудесно обходились столовой. Ужинала Тоня в общезжитии вместе с девочками: нарежут колбасы, кинут чай в кипяточек. Игорь, тот... Впрочем, она понятия не имела, как он ужинал, и вообще ужинал ли он. Теперь оказалось, что она должна помнить не только о себе. Непрестанно она чувствовала новизну того, что все время думает о них обоих. Смешно, как будто у нее четыре ноги, и каждую надо обуть, и два рта, и каждый надо накормить. Приходилось как-то сочетать свои желания с его желаниями. А как это сделать,

если она, оказывается, совсем не знает домашнего Игоря? Готовить она толком не умела. То и дело она попадала впросак: для котлет годилось не всякое мясо; паркетный пол надо не мыть, а натирать... Она бурно переживала свои промахи.

До свадьбы Тоня смотрела на себя совсем по-другому. Она была довольна собой: фигура правильная, хотя в талии чуть полновата, волосы явно красивые, лицо яркое, во всяком случае не стандартное. На любой вечеринке за ней ухаживало всегда несколько парней. И не какие-нибудь там разболтаи. Начальник механического цеха Ипполитов, интересный, содержательный, явно был влюблен в нее. В компании она могла и спеть под гитару и сплясать чечетку. Прилично каталась на коньках, на пляже шутя делала стойку. Во всяком случае, она представляла себе, за что Игорь мог полюбить ее. Но какой она кажется ему сейчас, в роли судомойки, стряпухи, да еще не очень умелой — вот такая, в дырявых тапках, с грязной мочалкой в руках?

Было тревожно оттого, что отныне в глазах Игоря ее жизнь больше не делилась на две части. После переезда в новый дом открылась вторая, неизвестная ему половина ее жизни. Она вставала непричесанной; он видел, как она штопала чулки, стирала. До этого она появлялась перед Игорем лишь нарядной; они встречались, чтобы пойти в кино, на каток. Сейчас она очутилась на виду, вся, и — кто знает? — наверное, он увидел в ней много не очень-то привлекательного. Ее раздражала эта затаенная, раньше несвойственная ей неуверенность. Ни красивые волосы, ни ее горячие губы не могли помочь ей. Важным теперь стало не подобранное со вкусом платье, не бойко отстуканная чечетка, а что-то совсем другое...

Жесткая проволока врезалась в мякоть ладони. Можно было выгнуть проволоку плоскогубцами. Игорь упрямо нахмурился: ему нравилось испытывать свою выдержку. Закрутил концы точно по размеру патрона. Завтра по этому кольцу сделать бандажик, на потолке закрепить блок и — порядок. Он набросал на клочке бумаги эскиз устройства блока. Линии ложились с небрежной уверенностью. Сказывается практика. Но вслед за удовольствием он почувствовал приближение знакомого беспокойства. Он сложил эскиз и вместе с кольцом сунул его в карман. Чем сильнее он отгонял это чувство беспокойства, тем упорней оно возвращалось к нему. Тонкие брови его сдвинулись. Он начал убирать со стола, громко напевая. В присутствии Тони он почему-то стеснялся петь. Он пел, когда она уходила на кухню. Раньше он пел, проводив Тоню и возвращаясь ночью по пустынной улице.

Потоптавшись у этажерки, он решительно повернулся и направился на кухню. Приоткрыв дверь, услышал на кухне голоса. Тоня разговари-

вала с соседкой Олечкой Трофимовой. Он вернулся в комнату, вздохнув, опустился на корточки перед этажеркой. Вытащил с нижней полки завернутую в газету связку бумаг. Ему не следовало этого делать. Ничего, он только посмотрит и положит назад. Ему хотелось еще раз полюбоваться на чертежи. Он достал их из связки, растелил на полу. Несколько минут он встревоженно вглядывался, потом лицо его просветлело, он потер руки. Вот и все, ничего ему больше не требуется...

Однако теперь, когда чертежи лежали перед ним, ему стало грустно оттого, что нельзя заняться этим как следует. Строго говоря, никаких чертежей не было. Так, наброски, схемы, прикидки. Если бы сестра за стол и соединить все хотя бы в эскизный проект. Игорь обругал себя за податливость. Уступка никогда не укрощает желания. Он решительно засунул связку за этажерку. В таких случаях нельзя пускаться в рассуждения.

Три месяца он не касался этих бумаг — и вот не вытерпел.

Идею модернизировать большой карусельный станок «Ропак» выдвинула Вера Сизова. Игорь взялся помочь ей по просьбе Геннадия. Отказать другу он не мог, хотя интерес Геннадия к Вере не вызывал у Игоря сочувствия. Работа над проектом постепенно увлекла. Программное управление впервые устанавливалось на такого типа станке. Вскоре Игорю пришлось удачное решение вопроса о так называемой «потере размеров резцов» — поставить револьверную головку и, поворачивая ее автоматом, вводить другой резец, точно фиксируя его положение. Система получилась настолько ошеломляюще простой, что он не поверил себе. Со свойственной ему осторожностью он не торопился сообщать о своей идее. Единственный человек, с которым он поделился радостью, была Тоня.

В те дни они почти каждый вечер ходили смотреть, как строится дом. Надежда получить комнату в новом доме то исчезала, то вновь воскресала. Заявлений было много, по мере того как строительство заканчивалось, страсти накалялись. Сквозь решетку лесов так ярко светили желтые, похожие на сыр, блоки стен, что Тоня не могла удержаться и робко гадала, на каком этаже будет их комната («Если дадут», — суеверно прибавлял всякий раз Игорь), куда будут выходить окна...

Получение комнаты во многом зависело от начальника Игоря, главного механика завода Лосева. На производственном совещании Лосев резко отверг идею модернизации «Ропака». Дорого, сложно, несвоевременно и не под силу. Программное управление такого станка должны разрабатывать специальные институты («Вы недооцениваете наших инженеров!» — крикнула тогда

Вера. — Ваш отдел совершенно не занимается творческими проблемами!)).

Лосев сказал, что он предпочитает заказать новый станок, а не заниматься бесплодными изысканиями.

Слово главного механика считалось на заводе законом. С Лосевым избегали ссориться даже начальники крупных цехов. Он умел устраивать людям неприятности и не прощал тем, кто шел против него.

Вера надеялась, что Игорь выступит, поддержит ее. Она даже и не догадывалась, как легко он мог опровергнуть возражения Лосева. Никто не знал, что у Игоря в руках есть решающий козырь — автомат.

Он не выступил.

Он молча сидел в заднем ряду, опустив голову. Он заставил себя думать про дом. На стройке уже снимали леса. Белели замасленные мелом стекла. Монтеры опробовали лифт. Через неделю в завкоме будут распределять ордера. Достаточно одного слова Лосева, и не видать им комнаты. Жди, когда построят другой дом — через год, два... «Еще немного, потерпи, — повторял Игорь себе. — Вот получу комнату, тогда все выложу. Тогда наплевать мне... Месяц, другой пройдет, тогда...» Совесть его не мучила. Пусть еще Вера скажет спасибо, что он отмолчался. Нашлись бы и такие, которые в угоду Лосеву поспешили бы выступить против Веры.

А затем наступили те долгожданные дни, когда они очутились вдвоем в своей комнате, и он забыл обо всем. Свершилось чудо, и до сих пор ему было странно: неужто это он, Игорь Малютин, имеет такую шикарную комнату, и Тоня Колесникова — его жена, и он может видеть ее каждый день? Захочет — сейчас выйдет на кухню и увидит ее, захочет — обнимет... Никто им больше не нужен, никуда им не хотелось ходить, они боялись, что кто-нибудь заявит и нарушит их уединение. Игорь, такой бережливый к своему времени, теперь способен был каждый вечер сидеть дома и любоваться Тоней, ее возбужденной непоседливостью, ее летящей походкой, когда, закинув голову, будто оттянутую назад снопом волос, она, напевая, носилась по комнате, умиляться каждому жесту ее обнаженных рук, болтать о пустяках, точить ей кухонные ножи — и чувствовать себя при этом счастливейшим человеком.

Ему казалось, что он полностью забыл про схему, а между тем где-то в далеких клетках его мозга продолжалась неустанная и не подвластная ему работа. Порой до Игоря доходил явственный толчок только что рожденной догадки. Созревание заканчивалось, лопались почки, цыпленок продавливал скорлупу. Все чаще Игоря подмывало засесть с конструктором за рабочие чертежи, скорее сдать на изготовление, сделать опытный образец. Но дома эти желания выглядели странными. Как будто он в чем-то изменял Тоне. Впрочем, скажи

ему Тоня, что ей надо заниматься какими-нибудь деталями машин, он бы тоже обиделся.

Когда Тоня вошла в комнату с кастрюлей, Игорь лежал на кровати, одна рука закинута за голову, другая, с карандашом, что-то чертила в воздухе. Глаза его пристально смотрели на потолок, точно это был лист ватмана.

— Та-ак... — строго пропела Тоня. — Привычки общежития. Пережитки общежития в сознании людей.

Игорь виновато вскочил, оправил смятую подушку, бросился убирать со стола.

Суп явно подгорел. Она исподтишка наблюдала за безмятежной рассеянностью Игоря.

— Ну как? — не вытерпев, сказала она.

— Замечательно. Я не знал, что поджаренный суп — такая вкусная штука.

Она подозрительно заглянула ему в глаза.

— Подхалимаж!

После обеда Тоня гладила. Игорь сидел сбоку на табуретке, колени его упирались в фанерную стенку стола. Тоня набирала в рот воды, чтобы побрызгать на белье, надутые щеки делали ее лицо ребячье-важным. В эту минуту Игорь говорил какую-нибудь чепуху, Тоня силилась удержаться от смеха, краснела, блестящие капли дрожали на сжатых губах, но сдержаться не было сил, и она прыскала, обливая водой себя и Игоря.

— Послушай, Тоник, — он вытер лицо, — а не купить ли нам стол?

— Почему стол? — все еще улыбаясь, спросила она. — Мы же договорились — сперва кушетку.

Она стукнула утюгом о подставку, выпрямилась. Она вдруг поняла, что он давно уже думает про стол. Смешил ее, смеялся, а сам думал про стол.

— Какой? Письменный?

На какое-то мгновение он смеялся.

— Нет, можно обеденный. А то за этим сидеть невозможно.

Тоня опустила глаза, щадя его, и заговорила, быстро глуша в себе досаду:

— У нас осталось свободных денег двести десятых. Нам нужно еще простыни, миску, ты сам говорил, что тебе нужна спецовка...

Она загибала пальцы. Когда все пальцы были загнуты, Тоня посмотрела на свой кулак. Она могла бы перечислять дальше. Но какой это имело смысл? Им не хватало уймы вещей. Тоня разжала кулак. Обожженная кожа на указательном пальце сморщилась и покраснела. Ей стало жаль себя и еще больше жаль тех дней, когда Игорю не нужен был никакой письменный стол. Сегодня он заговорил про стол. Ему не терпится сесть за работу. Так быстро... А ей еще не надоело... Она по-прежнему готова часами держать свои руки в его жестких руках, слушая его шепот... Как быстро все проходит...

— Зачем ты так... Не надо, Тоник...

Она увидела перед собой его перепуганное, умоляющее лицо.

— ...Не нужно мне никакого стола.

Она почувствовала плечами боязливое прикосновение его руки и отстранилась, зная, что он больше не осмелится обнять ее, и досадуя на него за это.

Его расстроенный вид подтверждал все ее подозрения. Она должна была обидеться, она хотела обидеться — и не могла. Ее растрогала смиренная виноватость Игоря. Никто не видел его вот таким, никто и не подозревал, что Игорь Малютин способен быть таким — ребячливо покорным, молящим, не знающим, куда девать свои большие руки. Она заметила на его остром подбородке красную царапину — порез от бритвы. И бриться-то еще как следует не умеет.

И эта растерянность Игоря, которая минуту назад злила ее, сейчас вызвала чувство нежной жалости. Она притянула его к себе за уши, поцеловала его губы и эту красную, шершавую царапину. С каждым ее поцелуем лицо его светлело, прояснялось.

Она понимала, что он счастлив, благодарен, согласен на все и рад уступить ей. Но она остерегалась этой победы. Мудрый инстинкт проснулся в этой молодой и, казалось бы, неопытной женщине. «Ну хорошо, ты настояшь на своем, а дальше? Что будет потом? Уступив, он будет недоволен и собой и тобой — и не успокоится... Все равно месяцем раньше, месяцем позже вы вернетесь к этому. В любви кто уступает, тот выигрывает».

Мужчина в таких случаях долго и мучительно размышляет. Тоня ни о чем не раздумывала, воображение заменяло ей мысли, чутье заменяло логику. Она живо представила себе, что через месяц ей надо сдавать эссе по сопромату в свой вечерний Политехнический институт, затем чертить подъемник — она и так пропустила два задания, — и тогда ей придется — хочешь не хочешь — засесть за учебу и установить какой-то порядок в их жизни. Пора. Игорь прав. Но обидно, что он начал первый, хотя в глубине души она обрадовалась, что начал именно он.

Она первая постигла неизбежность случившегося и должна была принять решение. Так всегда: чуть что, Игорь отступал, и последнее слово оставалось за ней. Гораздо легче подчиниться, не принимая на себя тяжести старшинства. И все же она не согласилась бы скинуть со своих плеч эту сладостную ношу.

— Ты еще собиралась купить занавески на окно, — вспомнил Игорь. — У тебя лыжных ботинок нет.

— Занавески подождут, — возразила она, жалея себя и досадуя на его уступчивость. — Ботинки можно прекрасно брать на базе.

Хмуриться она не умела. Большие глаза ее темнели. Над бровями, под тугой, белой кожей сердито перекачивались легкие волны.

— А простыни? — спросил Игорь, давая ей еще одну возможность изменить решение.

— Со следующей получи. А если в самом деле купить письменный стол?

— Может быть, лучше обеденный, раздвижной?

— Я видела письменный в комиссионном.

— Там даже дешевле.

— Дело не в цене. Мы не такие богатые, чтобы покупать дешевые вещи, — строго сказала Тоня.

Глаза их встретились. Его — счастливые, обожающие. Прозрачная голубизна их темнела, как темнеет талый лед. И ее — в чуть косом разрезе, затененные легкой сеткой ресниц, под которыми ярко блестел коричневый свет.

Игорь неуверенно коснулся ее руки — и ты еще сердилась? Она медленно помотала головой, не отрывая от него взгляда.

— Тоня, неужто ты меня любишь?

Она молча улыбалась, сжимая губы. Перед самой свадьбой они заспорили, кто из них сильнее любит. «Я могу сделать для тебя такое...» Игорь задыхался, не находя нужных слов, и тут же, смущенный собственным волнением, старался отшутиться: «Могу ради тебя съесть пирожное». «А мне ни на одного мужчину смотреть не хочется», — серьезно говорила она, негодуя на его тон. Какими они были тогда глупыми! Любить — она считала — это значит ждать его звонка, волноваться, когда заведишь издала, у Нарвских ворот, его, тонкого, угловатого, в суконой куртке, с нахлобученной серой кепочкой, замирать, чувствуя прикосновение его губ.

А разве гладить его рубашку — это не любовь? Стоять в очереди за мясом, чистить овощи (и от картошки и от свеклы руки всегда неотмываемо серые). Экономить каждую копейку. Или уступить, вот как сейчас, с этим столом?.. Она радовалась тому, что смогла пересилить себя и пожертвовать своими желаниями ради Игоря. В сущности, желания эти были мелкие, эгоистичные. Их спор решился сам собой. Она выиграла его.

Не разжимая рук, они подошли к окну. От заиндевелых стекол тянуло холодком.

— Теперь ты начнешь заниматься, и я тебя не увижу, — сказала она.

— И ты тоже сядешь за эпюры.

— И я тоже, — повторила она.

— А мне не к спеху, — небрежно сказал Игорь.

Улыбаясь, она слушала его обещания подождать с занятиями до ухода в отпуск главного механика. А пока что он намерен сидеть рядом с нею и смотреть, как она чертит.

— Нет, мы заведем твердый порядок, — сказала она. — Всю неделю занимаемся. Каждый на своем конце стола, а в субботу идем в кино.

— Встречаемся у шкафа? — И он сам рассмеялся. — Ребятам мы обещали, что будем приглашать к себе. Они, наверно, уж обижаются.

— Ладно. Одну субботу в кино, другую — пускай приходят. Только надо достать занавески.

— Без занавесок им, конечно, будет неприятно.

— Много ты понимаешь... Патефон бы еще...

— Сейчас долгоиграющие пластинки освоили. Вот штука! Знаешь, как они устроены?

Тоня рассеянно следила, как он чертил пальцем по стеклу. Он всегда хорошо чертил, умел от руки вычертить круг точно, как по циркулю. Если б не она, Игорь сейчас, тихонько сопя от удовольствия, чертил бы свой автомат.

Тоня усмехнулась: быстро кончился их медовый месяц. Уложились почти в норму. И почему это в кино и в книгах, там, где описывается любовь, люди знакомятся, гуляют, и всегда им что-нибудь мешает, они страдают и, наконец, поцелуй, свадьба, и все на этом кончается. Как будто самое трудное полюбить и выйти замуж.

Тоня щелкнула по засохшему стеблю цветка. Посыпались сморщенные лепестки. Замолчав, Игорь смотрел, как они, кружась, медленно падают на ее раскрытую ладонь. Невнятная грусть передалась ему. Они как бы навсегда прощались с празднично бестолковым началом их жизни, оно оставалось за первым поворотом пути, который казался им бесконечным. Впереди ждало тоже хорошее, но там не будет того, что было...

Тоня стряхнула лепестки. Пора выкинуть этот засохший торчок. Но тут же по-хозяйски решила не выбрасывать горшок с землей: можно, пожалуй, посадить лимончик.

В следующую минуту она заговорила энергично, решительно, каким-то новым для Игоря голосом, словно деловито подытоживая случившееся. Вольше всего она боится превратиться в домашнюю хозяйку. Она не хочет стать такой, как их соседка Олечка. Придется как-то распределить обязанности по хозяйству. Она во что бы то ни стало должна кончить институт. Игорь должен следить за ней самым беспощадным образом. Каждый вечер после занятий — час гулять. Главное — соблюдать режим. Лектор недавно объяснял им: от режима производительность страшно возрастает. Сейчас как раз десять часов, они пойдут гулять. Распорядок вступает в действие немедленно. Никогда ничего нельзя откладывать.

Морозный ветер толкал их в спину, придавая легкость шагу, распахивая перед ними просторы заснеженной улицы. Стук тяжелых лыжных ботинок Игоря сливался со звонким пощелкиванием Тониных каблучков. В магазинах открывались заиндевелые двери, и вместе с теплым дыханием оттуда доносились свежие запахи кофе, яблок, сыра.

Они шли по улице, как по коридору своей квартиры. Город с его площадями и темными переулками, с вечерней толпой, с паутиной проводов, натянутых над улицей, был сейчас их домом. Он принадлежал им. Дворники заботливо усыпали их путь пригоршнями желтого песка. Обгоняя их, по мостовой ползли снегоочистители, белая пыль клубилась из-под щеток, скрепки громыхали об асфальт.

Эти двое счастливых шли уверенные, что специально для них зажгли матовые пузыри фонарей, для них разукрасили улицу цветными огнями реклам и светофоров. То, что происходило с ними, и было самым важным, до остального им не было дела. Молодой эгоизм счастья надежно защищал их от окружающих тревог. Не снег скрипел под их ногами — это послушно поскрипывала земная ось. Все подчинялось им, даже будущее.

— В завкоме дают участки под фруктовые сады, — вспомнил Игорь. — Возьмем?

— А что, у нас многие берут. Посадим яблони, вишни. Будем ездить туда по воскресеньям.

— Махнем в это воскресенье на лыжах?

— Ладно. Смотри сюда. Вот такой ящик для цветов и нам надо сделать.

Увлеченные, они забыли о недавней печали, будущее нетерпеливо влекло их к себе.

Тоня взяла Игоря за руку и вдруг потащила через улицу. Они бежали, смеясь, лавируя между несущимися автомобилями с ловкостью истинных детей города.

Оказывается, Тоне захотелось в сад. На темных скамейках, подняв воротники, обнимались парочки. Даже зимой все укромные уголки здесь заняты. И на их недавнем местечке, возле заколоченной эстрады, сидел моряк с девушкой.

— Здравствуй, племя молодое... — продекларировала Тоня.

Они, взрослые люди, с удовольствием покидались бы снежками, если бы не чувство солидности, неловкости перед этими бездомными влюбленными юнцами.

Деревья протягивали им горсти снега на замороженных ветвях.

— Ты видел, как цветут яблони? — спросила Тоня.

— Только в кино.

— Вот таким белым сад становится весной.

Игорь попробовал представить себе тот сад. Вероятно, цветы яблонь пахнут, как Тонины волосы. Он прижал к себе ее локоть. Пальцы их переплелись, крепко, до боли.

В горле сразу пересохло. Они перешли на шепот, на особый язык. «Ту-ту-ту» — это Тоня. «Ру-ру-ру» — это Игорь. Сейчас все слова другие, специально для шепота, для ночи, их невозможно произнести вслух.

Перед свадьбой Тоня перечитывала «Анну Каренину». Ей вспомнилась оттуда первая фраза: «Все счастливые семьи похожи друг на друга,

каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». А у нас будет наоборот. Мы будем счастливы по-своему, не похоже на других. Весной в комнате до позднего вечера будет солнце, оно будет ждать их, когда они вернутся с работы... Летом мы поедем по туристской путевке на Волгу...

И они снова любовались будущим, уверенные, что видят его.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Среди членов заводского комитета комсомола наибольшим влиянием пользовались Вера Сизова и Геннадий Рагозин. Обычно они выступали заодно, и новый секретарь комитета Шумский вынужден был, в сущности, проводить их решения, а не свои. Впрочем, никаких своих предложений он не выдвигал, но происходило это, как ему казалось, не потому, что у него не было, что предложить, а потому что Вера и Геннадий подавляли его самостоятельность. Они форменным образом обкрадывали его, каждый раз он убеждался, что их разумные доводы были его собственными доводами, которые он просто не успел высказать. Авторитет этой парочки раздражал Шумского. Он ждал случая освободиться от зависимости, поймав их на какой-нибудь ошибке. Но сейчас, когда он впервые стал свидетелем разногласия между ними, он оробел. Если они ни на чем не сойдутся, Шумскому придется стать судьей. Нет, это не тот случай, где он мог выступать судьей. Слушая спор Сизовой и Рагозина, он уныло листал тощее личное дело Игоря Малютина, пытаясь представить себе этого парня. «В белой армии не воевал, в царской не служил». «В оппозициях не участвовал». Весьма существенные сведения.

Кандидатура Малютина для отправки в МТС выплыла, когда просматривали списки. Геня Рагозин сразу же стал возражать; Вера потребовала объяснений, принялась настаивать. Она доказывала, что именно Малютин наиболее подходит из всех возможных кандидатов: знающий механик и не размазня, как Вася Земсков, и в ремонтном деле имеет практику. А Геннадий немедленно заявил, что Верой движут чисто личные соображения, поскольку в свое время Малютин не поддержал ее выступление против Лосева.

— Да, Малютин вел себя предательски, — сказала Вера. — Мы вместе с ним занимались модернизацией «Ропига», а он побоялся выступить.

— Почему побоялся? Почему? Ты знаешь? — спрашивал Геня.

— Из шкурных интересов.

— У него о комнате вопрос решался. Все его счастье от этого зависело. А если бы у тебя любовь?.. — Он запнулся, махнул рукой. — Ты по-человечески подходи.

— По-твоему, комсомольское и человеческое — разное?

Вера ходила взад-вперед вдоль длинного стола, покрытого кумачом; когда она поворачивалась к Шумскому спиной, он чувствовал себя как-то свободнее. Со спины Вера казалась высокой, нескладной, у нее были мужские, широкие плечи, походка грубая, качающаяся. Возможно, поэтому так неожиданно поражало ее лицо, мягкое, окрашенное слабым румянцем. Взгляд ее смущал настойчивой чистотой.

Вначале Шумского сместила неуместная возвышенность чувств и выражений Веры. Казалось странным, что она слышит толковым электриком и увлекается модернизацией карусельного станка. Постепенно Вера убедила его в искренности каждого своего поступка. Все чаще он стал завидовать простоте и определенности, с какой она подходила к самому запутанному вопросу.

Вера повернулась к Шумскому, и он, как всегда, почувствовал себя глупо виноватым.

— Вам хорошо тут разводить морали, — сказал он, — а мне завтра к вечеру списки в райком подавать. Спросят с меня...

— Если ты хочешь знать, Геннадий, — неторопливо продолжала Вера, не слушая Шумского, — у таких, как Малютин, личное действительно противоречит комсомольскому. И надо силой приучить его жертвовать личным.

— Жизнь ему искалечить? Да? — Подступая к Вере, Геннадий резко взмахнул рукой.

Быстрые зеленоватые глаза его потемнели, нижняя челюсть выдвинулась вперед. Гнев преобразил его всего. Казалось, даже растрепанный клок волос, свисающий на лоб, сердито топорщится. Невозможно было представить себе, что эти поджатые злостью губы способны смеяться. Геннадий отдавался каждому чувству весь, без остатка, заражая окружающих своей горячностью. Что бы он ни делал, всегда казалось, что иначе он не может. То, что у другого было бы неприятно, фальшиво, у него получалось естественно. Он принадлежал к той счастливой категории людей, которым все к лицу, которых все украшает, даже гнев. Замасленная сукодная куртка, и та сидела на Геннадии с щеголеватой небрежностью. Любой костюм выглядел на нем красиво. Работать с ним было приятней, чем с Верой, его суждения не вызвали особых раздумий, у него все было как-то привычнее, легче, веселее, без суровой категоричности Веры.

Настаивать на кандидатуре Малютина Шумский не собирался. Никого в этом списке он не знал, Малютин, как и другие, был для него всего лишь фамилией. Факт, что кого-то посылать надо и этот кто-то должен быть во всех отношениях подходящим человеком. Тягомотно, конечно, снова пересматривать списки, подбирать. Но, с другой стороны, ему хотелось, чтобы Геннадий поставил Веру в трудное положение, из которого

нельзя выйти с ее беспрекословными «да» и «нет». Это сбилось бы с нее спесь.

— Пожалуйста, — сказал он, — назови другую кандидатуру, я не настаиваю.

— Не называть надо, а искать, — буркнул Геннадий.

— Ищи. Кто тебе мешает? У тебя, брат, удобная позиция, — рассердился Шумский. — Тебе хорошо защитником выступать. Это, мол, не я, а они такие-сякие.

В быстром взгляде Геннадия Шумский поймал выражение превосходства человека, который знает его слабое место и намерен сейчас в этом месте ударить. Он сразу сбавил тон, но было поздно.

— Та-а-к, — протяжно сказал Геннадий. — У меня удобная позиция. Та-ак. А у тебя какая? — Он подождал и усмехнулся. — У тебя вообще никакой.

«Вот, — тоскливо подумал Шумский, — вот, дождался».

— Мы должны подходить к любому вопросу ответственно, — торопливо начал он вслух. — Партия доверила комсомолу послать лучших представителей на укрепление сельского хозяйства. Наш долг — сочетать эту почетную задачу с индивидуальным подходом... — Он пытался говорить так же уверенно, как говорила Вера, но получалось у него наигранно, крикливо, и он сам это со стыдом слышал.

Пожав плечами, Геннадий отошел в глубь комнаты. Шумский повернулся к Вере, она подняла свои длинные, прямые брови, как бы отталкивая этим движением его слова, на которые не зачем отвечать.

На колченогом столике, накрытом кумачом, стояли призы заводских спортсменов. Геннадий машинально взял один из кубков, подержал его, прижимая к металлу горячие ладони. Матовые следы быстро сбежали, открывая зеркальную поверхность и надпись на ней: «Победителям лыжного кросса — команде Октябрьского завода...» Затем шли фамилии, и среди них рядом: Малютин и Рагозин. Геннадий в тот раз обошел Игоря на последнем этапе. Зато Игорь всю дистанцию прокладывал лыжню. Геннадий несколько раз предлагал ему смениться, но Игорь продолжал идти первым, только перед финишем уступил.

— Ну, так как же, — услышал он жалобный голос Шумского, — будем другого выделять?

— Почему? — сказала Вера. — Малютин — знающий техник-механик. То, что требуется. Более подходящих кандидатов у нас нет. Какие же причины у вас для отвода? Потому что у Малютина дружок — член комитета?

Геннадий стиснул кубок.

— Да, Малютин — мне друг. Мы с ним пять лет в одной комнате, кровать к кровати... Вера, у тебя есть душа или там распределительный валик? Человек только женился, месяц всего как

комнату получил. Мы же сами за него хлопотали. Шумский тут про доверие передовицу жевал. А за что ты это самое доверие Малютину оказываешь? А? За то, что он на совещании не выступил? Тебя не поддержал? В наказание, значит, выдвигаешь его. В отместку, из-за личной обиды.

— И тебе не стыдно? — спросила Вера, недоуменно вглядываясь в Геннадия.

Шумский заметил, как под ее взглядом Геннадий покраснел. Это удивило Шумского, потому что Геннадий был не из тех, кого можно смутить, особенно таким вопросом. Ему показалось, что между Верой и Геннадием идет сейчас какой-то другой, скрытый от него разговор.

— Коммунисты, пожилые люди едут. Ты что, слепой? Не видишь, что творится кругом? — говорила Вера. — После пленумов, когда выяснилось, сколько у нас запущенного в сельском хозяйстве, ты рассматриваешь посылку в деревню как несчастье! Мобилизация идет, а ты ноешь над своим Малютиным.

Слова она произносила почти те же самые, что и Шумский, но почему-то у нее они звучали не как вычитанные из газеты, они шли из ее души, веские, спокойные.

— ...Я тебя считала принципиальным человеком, — произнесла она задумчиво, и прямые брови ее сомкнулись.

— У тебя все беспринципные, — возмутился Геннадий. — А ты что, всегда прямо грудью на дот идешь? А?

Вера молчала.

И Геннадий снова почему-то смутился. Вера подошла к вешалке, сняла пальто.

— Если вы замените Малютина, это будет нечестно. — Она громко притопнула ногой, надевая галошу. — Я завтра на комитете все равно выдвину его.

— Не пугай, — вяло отозвался Геня.

— До свидания, — сказала Вера и ушла.

Шаркая щетками последних уборщиц, в здании заводоуправления расплагалась вечерняя тишина. Только напротив комитета, в редакции многотиражки, трещала машинка. Ее стук больно отдавался у Шумского в висках.

— Пожалуй, она права? — вопросительно начал Шумский. — Конечно, с ее стороны не очень-то... — Он переложил анкету Малютина в общую пачку. — Но и у тебя, брат, тоже неубедительно. По другим кандидатам ты не возражал.

Геннадий медленно поставил кубок на место. Слова Шумского не доходили до него. Воспринималась лишь интонация — ожидающе растерянная.

Геннадий подошел к окну. Отсветы мартена обгарили разъезженную дорогу, клумбы, присыпанные свежим снегом, и посреди них бетонную русалку. По обочине дороги, скрываясь в тени простенков и вновь появляясь на фоне полыхающих огнем окон мартена, шла Вера. Отсюда она казалась маленькой и хрупкой. У железнодорож-

ного переезда Вера остановилась. Геннадий ждал, что она сейчас обернется и увидит его в окне. Но Вера своей размеренной, четкой походкой поднялась на насыпь и скрылась за переездом.

Шумский приготовился к откровенному разговору. Он готов был уступить, согласиться, принять чью-нибудь сторону. Когда он слушал Веру, ее доводы казались ему неопровержимыми. А когда слушал обвинения Геннадия, то убеждался, что прав Геннадий. Ему было мучительно стыдно за свою нерешительность.

Но Геннадий, отойдя от окна, заговорил о каких-то посторонних вещах, потом надел пальто и ушел, так и не вспомнив о Малютине, будто с уходом Веры этот спор потерял для него интерес.

Шумский остался один в большом, ярко освещенном кабинете. Он смотрел на подколлотую к айкете фотографию Малютина. Кто прав? Обвиняют друг друга в личных мотивах. А на самом деле?

На улице пахло жженой резиной, воздух словно загустел, круто перемешанный за день потоком машин.

Вера подняла воротник. Теплая глубина меха хранила запах духов. Возбуждение от недавнего спора медленно спадало, уступая место довольству человека, исполнившего свой долг.

Вдали, за цветистыми огнями жилых массивов, подымалась розоватая стена света, подпирая черное небо с редкими звездами. В конце проспекта висела Полярная звезда, и Вера двигалась по направлению к ней.

Размолвка с Геннадием все же огорчала ее. До сих пор они всегда сходились во взглядах. Вера ценила твердость убеждений Геннадия и видела в нем настоящего комсомольского руководителя. Такого рода люди в любой ситуации находят правильную политическую линию и проводят ее, не считаясь ни с чем. В данном случае Геннадий проявил недостойную беспринципность. Удручал не сам факт — Геннадий рано или поздно признает свою ошибку, — а то, что Вера не могла определить, как теперь ей следует относиться к Геннадию, как расценить его поведение. Считать человеком, который ставит личное выше общественного, значило ставить его на одну доску с Малютиным. Нет, между ними есть разница. Очевидно, со стороны Геннадия это просто слабость, вызванная неверным пониманием дружбы. Слабостей Вера не признавала. Человеческие слабости вносили путаницу в четкую систему оценки людей. Всех окружающих, все события Вера делила на положительные и отрицательные, на нужные и вредные. Это ясное разграничение она сохранила с раннего детства, когда весь земной шар был населен для нее только буржуями и коммунистами, врагами и друзьями. В институте система несколько усложнилась: студент оценивался отметкой. Существовали отличники и дво-

етники, успевающие и хвостисты. Но и там каждому можно было вывести средний балл с точностью до десятых.

Придя на завод, Вера обнаружила среди рабочих множество людей, которых не отнесешь ни к плохим, ни к хорошим — талантливый рационализатор непристойно ругался с мастером из-за денег, пьяница перевыполнял норму, прогульщик исправно читал газеты. В цехах рядом с новенькими автоматами дребезжали станки Русско-Бельгийского общества. В шишелном у работниц к концу дня вздувались на руках синие вены... Жизнь не укладывалась в ту безупречно стройную схему, которую Вера рисовала себе в институте. Ну что ж, тем хуже для жизни. Все плохое и непонятное Вера, возмущаясь, решительно относилась к частным случаям, к исключениям. Настоящая заводская жизнь должна быть только такой, как преподносили им на лекциях, писали в книгах. Там боролись за технический прогресс, внедряли автоматические линии, в цехах стояли кадки с цветами. Люди работали не ради денег, а увлеченные азартом соревнования. Там были консерваторы, но их немедленно разоблачали. Там боролись новаторы, но их немедленно поддерживал весь коллектив, и увлекательная борьба быстро приводила к победе.

Вера в институте готовилась именно к такой жизни, и такая жизнь, разумеется, была более правильной, чем то, что происходило на Октябрьском заводе.

И хотя на заводе происходило немало замечательного, Вера воспринимала это замечательное — и новую лабораторию, и литье под давлением, и сварочные автоматы, и высокочастотную закалку — не как результат борьбы, не как достижения, а как нечто непреложное, само собой разумеющееся, обыденно обязательное.

— Подумаешь, керамические резцы, их надо было внедрить еще три года назад, — говорила она начальнику цеха Ипполитову. — Но вот как ты можешь мириться с такими задержками отливок? Я уверена, все дело в том, что общественности неизвестны конкретные виновники в среде литейщиков.

Он посмеивался, слушая ее пылкие поучения. — Ты идеалистка.

— Если ты производишь идеализм от слова идеал, то да, я идеалистка, я за идеалы, — заносчиво отвечала Вера.

Таким идеалом она считала и самого Ипполитова. В институте он был на два курса старше ее. Они вместе ездили в туристский поход, занимались в одном научном кружке. У них завязалась насмешливая, ворчливая дружба, состоящая из перебранок, примирений, подтруниваний. Ипполитов считался одним из лучших студентов, ей нравилось в нем все: его ласковая уступчивость, умение сходить с разными людьми, определенность его жизненных целей; она не заметила, как,

прикрытое наскоками и шутивными спорами, выросло в ней серьезное чувство. Обнаружив это, она испугалась, боясь выдать себя нечаянным взглядом, словом. Втайне она надеялась, что Ипполитов сам поймет. Надеялась, ждала, хотела этого и не хотела. Иногда, во время разговора, когда наступала пауза, Вера замирала от ожидания и страха. Самолюбие не позволяло ей как-то подтолкнуть, помочь. Чем сильнее становилось ее чувство, тем глубже она прятала его за колкими шутками.

С тех пор как Ипполитова назначили начальником цеха, они виделись реже. Иногда, не выдержав, Вера под каким-нибудь предлогом забежала в цех, они здоровались, как старые друзья, расспрашивали друг друга о работе, случалось, вместе возвращались домой. Что-то между ними было, что-то крохотное и непрочное. Она чувствовала, что Ипполитову приятно бывать с ней, но сам он, кажется, нисколько не стремился к этому.

Несколько раз она встретила его с Тоней. Он был неузнаваем, запинался, краснел, сияющие глаза его не видели никого и ничего, кроме Тони. Странное дело, Вера не почувствовала ни ревности, ни обиды. Страдая, она оправдывала его и ненавидела Тоню за ее яркое лицо, за красивые выгнутые брови: было подло пользоваться такими средствами, Тоня обманывала Ипполитова своей зазывающей красотой, своим пошлым смехом.

Вера занялась проектом модернизации «Роплага». Обычная автоматика не давала ничего существенного. Вера решила применить элементы программного управления, поставить «электронный мозг». Для больших станков это было в новинку. Два месяца она приспособливала одну из существующих схем, пока не убедилась в ее непригодности.

Неудачи подстегивали ее упорство. Когда становилось особенно тяжело, Вера утешала себя мечтами: рано или поздно она добьет этот проект, и тогда... К ним на завод станут приезжать делегации с соседних заводов, она будет консультировать опытных инженеров, ей предложат защищать диссертацию, читать лекции в институте. А она останется такой же скромной, некрасивой женщиной в синем халатике. Ипполитов женится на Тоне и узнает, какая Тоня мещанка. Тоня будет требовать роскошных нарядов, он замучается с ней, перестанет следить за литературой, начнутся неприятности по работе. Однажды Веру вызовут в цех для консультации. Она найдет блестящее решение, после заседания они останутся вдвоем, пойдет разговор о совершенно посторонних вещах, и вдруг она скажет, спокойно улыбаясь: «А знаете, Алеша, я ведь любила вас». «Вы? — Он побледнеет. — Боже, как я мог променять вас на эту женщину. Слепец!» Она грустно усмехнется. В его словах прозвучит готовность бросить Тоню, начать жизнь сначала. Нет, Вера не будет разбивать семью. Счастье, по-

строенное на горе другого, — скверное счастье. Возможно, она еще любит Ипполитова, но это ничего не меняет. Она не выйдет замуж ни за него, ни за кого другого. Жизнь ее посвящена науке...

Замужество Тони явилось неожиданным для Веры. И даже возмутило ее. Смешно и нелепо, но она презирала Тоню за то, что та отказалась от Ипполитова и предпочла кого — Малютину! В этом было что-то обидное и оскорбительное. Вера решила скорее закончить проект, тогда Ипполитов узнает, на что она способна. На диспутах о любви и дружбе доказывали, что настоящая любовь доступна только передовому человеку, хорошему производственнику, и Вере казалось: если она осуществит проект «Роплага», то у нее будут все преимущества перед Тоней — инженер, активный общественник и, наконец, изобретатель.

Издали она увидела Малютину. Тоня смотрелась в зеркальное стекло витрины «Гастронома», поправляла на себе пуховую косынку. Игорь, смеясь, тянул ее за рукав. Они не замечали никого, они чувствовали себя единственными на проспекте, в толпе, в городе, в целом мире. Но прежде чем Вера успела это понять, она непроизвольно спрятала лицо в воротник.

Ее смутила сила собственной вражды к этой вульгарной мещаночке. Остаток пути, до Дома культуры, она продолжала спиной чувствовать позади себя Игоря и Тоню. Один раз она даже обернулась, зная, что они давно исчезли за снежной мглой вечера. От этой нечаянной встречи осталось томящее ожидание. Чего? Она не понимала, она умела обдумывать свои слова, поступки, но не чувства. Она не желала в них разбираться, они только мешали ей быть такой, какой она должна была быть.

...На улице пахло жженой резиной, воздух словно загустел, круто перемешанный за день потоком машин. Запах напоминал Гене, как мальчишками они жгли киноленты. Быстрое, шипящее пламя походило на взрыв...

Воспоминание было веселым и ненужным. Сегодня весь вечер в голову лезла всякая ненужная муть. Он свернул к Дому культуры. Постоял на ступеньках подъезда. Скрипучие, забытые фанерой двери заглатывали опоздавших. Почти каждый окликал Геннадия: кого это он ждет? Он делал веселое лицо и подмигивал, как будто он и впрямь кого-то поджидал. В клубе проходила конференция мастеров завода. Многие из тех, кто поступал из ремесленного училища вместе с ним, уже давно стали мастерами. Жизнь проходила, а он стоял на ступеньках подъезда и делал веселое лицо.

Он посмотрел на часы и вошел в клуб. Звенел третий звонок, втягивая остатки говорливой толпы в зал. Фойе быстро опустело. Катюша Михнецова ловила опаздывающих, заставляя регистриро-

ваться. Возле ее столика Геннадий увидел Веру. Она сняла халатик. На ней была беленькая кофточка, такая тоненькая, что в рукавах светились розовым предплечья, перетянутые голубыми лямочками. На туго уложенных косах еще искрился талый снег. Угловато согнув шею, она перелистывала списки. Красные пятна мороза медленно таяли на ее всегда матово-бледных щеках.

Заметив Геннадия, Катя поправила прическу и нарочито громко сказала, что в «Московском» идет «Пышка», а с Колей Синицыным она окончательно поссорилась и вообще ребята культурно ухаживать не умеют.

Геннадий что-то ответил Кате, и, очевидно, ответил удачно, потому что и Катя и окружающие долго смеялись, но Вера даже не улыбнулась, как будто ничего не слыхала. Он ждал, когда она повернется к нему, готовый встретить ее взгляд холодно и рассеянно. Надо было дать ей понять, что он зашел сюда совершенно случайно, но Вера даже глазом не повела в его сторону, словно рядом стоял незнакомый. С усталым нетерпением она продолжала смотреть списки.

Сперва его обидело это невнимание, потом самолюбие его возмутилось. Надо было любым способом сбить с нее это высокомерное безразличие.

— Катя, ты единственная в мире девушка, с которой каждому парню приятно посмотреть «Пышку», — весело сказал он.

Вера наклонила голову ниже, лицо ее оставалось невозмутимым. Она стояла к Геннадию боком. Под воротом кофточки был виден выгиб шеи и начало ложбинки, убегающей вниз по спине, в теплом, золотистом пушке.

— Я зайду в буфет, — сказал он Кате, заставляя себя говорить все тем же беззаботно оживленным тоном. — А ты тут быстрее закругляйся.

Катюша покраснела, метнула торжествующий взгляд на Веру и кивнула так, что мелкие кудряшки посыпались ей на глаза. Тотчас она закричала тоненьким голоском:

— Товарищи, кто еще не отмечался?

Вера выпрямилась, маленькая холодная улыбка раздвинула ее губы. И в ту же минуту Геннадий понял, что он ничего не добился, она смеялась над ним. Он так и не сумел настоять на своем. Конечно, он сумел бы найти более едкие слова, сказать что-то похлестче, но не сказал. Геннадий растерялся и отступил, не понимая, что с ним творится. Он чувствовал, что отступает. Никто не заметил этого, кроме него самого. И даже Вера, наверное, ничего не заметила. Но он-то знал, что никогда раньше не ушел бы, не добившись своего.

Сизые ленты холодного дыма колыхались под запотелым, низким потолком буфета. Геннадий купил плитку шоколада. Помедлив, он оглянулся. В буфете было пусто, только за одним столиком

пили пиво старик Коршунов и Леонид Прокофьевич Логинов. Геннадий взял бутерброд с блестящими, словно никелированными, кильками и тарелку вишнегрета.

— Вот это — Генька Рагозин, — сказал Коршунов Логинову. — Ты, верно, его не помнишь. Теперь он вождь нашей комсомольской ячейки. Давай сюда, Гень.

Геннадий подсел. Напротив на стене висела почерневшая от времени картина: буденновские конники мчались в атаку. Геннадий любил эту картину. Азартное, с горящими глазами лицо переднего всадника, занесенные над головой шашки, пыль из-под копыт... То было время, когда комсомольские комитеты еще назывались ячейками. Время таких стариков, как Коршунов и Логинов.

— Ты чего ж не пьешь, а закусываешь? — спросил Коршунов.

— Не положено. — Геннадий усмехнулся.

И вдруг почувствовал, что усмешка получилась неловкой. Ощущение неловкости раздражало и изумляло своей непривычностью. Все, что бы он ни делал, у него всегда выходило ловко, он был уверен в себе, и это помогало ему в любых случаях держаться с непринужденностью. Сейчас его уверенность куда-то исчезала, будто утекала сквозь невидимую трещину.

— Положено, — повторил Коршунов и, прищурясь, дунул на пену в кружке. — Если бы делали как должно, а то стараются как положено. Логинов засмеялся.

И они стали сравнивать комсомольцев двадцатых годов с нынешними. Стародавние воспоминания про комсомольские субботники и шумные дискуссии, про молодежные коммуны и первые ударные бригады.

Геннадий не раз слышал подобное, многие старики считают, что при них комсомол был настоящим, им всегда кажется, что теперешние комсомольцы не такие активные и не такие идейные. Не вникая в смысл слов, он слышал хриплый голос Коршунова и редкие, глуховатые замечания Логинова. И хотя Геннадий относился к таким разговорам добродушно, считая их даже в какой-то степени полезными для молодых комсомольцев, сейчас это почему-то болезненно задело его. Может быть, оттого, что здесь сидел Леонид Прокофьевич Логинов. Недавнее возвращение бывшего директора на завод живо и радостно взволновало всех. И Геннадию захотелось ввязаться в разговор и поспорить с Коршуновым, пусть Логинов узнает, каким стал заводской комсомол. Но что-то мешало ему, виновата была, конечно, Вера, все дело заключалось в ней, она, она расстроила его, она испортила ему настроение. Он сказал Коршунову, неизвестно зачем напрягая голос:

— Что ж, выходит, вы зовете комсомол назад? На тридцать лет назад?

Наступила тишина, и Геннадий почувствовал, как краснеет. Получилось грубо и глупо. Ему было стыдно взглянуть на Коршунова. Он любил этого всеми уважаемого на заводе старика, воевавшего еще в гражданскую, опытного мастера. «Нет, Вера тут ни при чем», — подумал он, вдруг поняв, что причина тут не в Вере, а в нем самом.

До кино шли пешком. С Катей идти было приятно и спокойно, она всю дорогу болтала, ни о чем не спрашивая, не ожидая ответов. Можно было ее не слушать, она не обижалась. Она робко держала Геню под руку, с трудом попадая в его сбивчивый шаг. Блестели ее глаза, зубы, блестели мелкие кудряшки, лаково розовые щеки, и вся она, маленькая, легкая, была похожа на розовый воздушный шарик.

Катя рассказывала, как начальник ее цеха Ипполитов все еще страдает по Тоне.

— Какое там страдает, заело его, — сердито проворчал Геннадий. Он язвительно скривился. — Как же, начальник цеха, а его какой-то мальчишка-техник с носом оставил.

Катя плутовато покосилась на него.

— Чудак он, Веру Сизову не замечает, а та по нему... — Катя благодушно запнулась. — Снегу-то навалило... Счастливые вы, мужчины! Умеете дружить по-настоящему. Игорь женился, и хоть бы что, все равно дружите. А у нас как кто из девчат выйдет замуж, так и дружба высохла.

До начала сеанса оставалось полчаса. Из-за дверей доносились железные звуки оркестра. Катя заправила под пуховую шапочку кудряшки, остановилась перед входом.

— Спасибо тебе за такие слова, — странным голосом вдруг сказал Геннадий.

Катя недоуменно подняла реденькие брови, заморгала.

— Насчет дружбы ты тут... а если это не так? Если я самый обыкновенный подлец? Никакой я не друг. А если я сделаю как друг, то обратно окажусь подлецом. Вот как хитро. Здорово? — Он говорил все спокойнее и улыбался, видя, как округляются от испуга Катини глаза, как мучительно старается она понять его. — Возможно, я и тебя обманываю. Не веришь? Как же, Геннадий Рагозин, комсомольский вождь, в президиумах сидит и вдруг — такая проекция? Невозможно? А бывает мирное сосуществование? Ну ладно, это я в порядке трепа. Выпил кружку пива и треплюсь. Все мужчины — обманщики и щипщики... — Он вздохнул, и глаза его устало померкли. — Знаешь, Катюша, двигай ты сама в кино. — Он сунул ей билеты, плитку шоколада и зашагал, не оглядываясь.

Он не заметил, как очутился перед домом Малютиных. Четвертый этаж, второе окно от бал-

кона. Темно. Ушли. Или спят. Прислонясь к столбику автобусной остановки, Геннадий разглядывал цветные прямоугольники освещенных окон.

Это был заводской дом, почти в каждой комнате жили знакомые. «Где-то здесь живет и Сережа Бойков. Завтра его тоже вызовут в комитет... Может быть, ты собирался зайти и к Бойкову, предупредить его, посоветовать за что цепляться, чтобы не посылали в МТС, — сошлись, мол, на старушку мать, не с кем оставить, больная, то да се... Нет, Геннадий, ты не собирался заходить к Бойкову, ни к кому не думал заходить, кроме своего друга Малютина. И слово-то какое паскудное выискала Вера — дружок. Отчего дружок, по какому праву дружок, если они настоящие друзья? Четыре года жили вместе, крепче братьев родных приварились. В чем же заключается дружба, если он за Игоря не заступится? Какие бы там слова ни произносили Шумский и Вера, факт, что Игорь с его психологией примет это как несчастье. Тоня наверняка не поедет: только комнату получили, только устраиваться начали и вот — бац! — пожалуйста, вытряхивайтесь. А если у них до разрыва дойдет? Выходит, он, лучший друг Игоря, своими руками толкать их на это будет».

Гасли одни, загорались другие окна, словно сигнальные огоньки на огромном пульте. Голубые, оранжевые, зеленые... Почему-то больше оранжевых, почти в каждой квартире оранжевый абжур... «Бойков, тот не товарищ мне, за того некому заступиться, тот пусть едет. За Бойкова ты проголосуешь с чистой совестью, так? Но в чем же состоит дружба — ходить на танцы, болтать до рассвета, одолжить десятку, а как беда, так в кусты? Так сразу принципы и совесть? Послушать Веру Сизову, так ему следует проявить свою дружбу, уговаривая Игоря и Тоню: «Дорогие мои Игорек и Тонечка, я горд и счастлив за вас...» Тьфу! Муть какая. Почему муть? Или прав Коршунов, когда он ворчит на нашу сознательность? Вздор! Десятки тысяч едут, никогда столько не ехало. И что это за беда — поехать по призыву? Кому же, как не нам, ехать? Но Игорь, Игорь, тот все по-другому увидит... Эх, был бы он, Геннадий, техник-механик, поехал бы сам вместо Игоря, и кончики. Из-за комсомольской работы даже до мастера не добрался за столько лет!»

Он вспомнил, как на последних выборах в комитет кое-кто спрашивал его: «Может, хочешь поучиться?» — «Успеется!» — отвечал он. Ему нравилось не жалеть себя. Он любил торопливую горячку комсомольской работы, волнение ответственности. Игорь, тот всегда был себе на уме. «А мое дело солдатское», — с гордостью говорил ему Геннадий.

Игорь считал общественную деятельность Геннадия занятием неблагодарным, никто за нее спасибо не скажет и не вспомнит, все забудется, и останется монтер шестого разряда Гень Рагозин.

А образование — дело надежное, за эти годы — с его энергией! — давно инженером стал бы. За подобные обывательские разговорчики Геннадий беспощадно «снял стружку» с Игоря. Он привык держаться с Игорем, как с младшим братом... Стать инженером — не значит еще стать настоящим человеком. Нет, он не жалел эти годы, он делал то, что любил. Обидно, конечно, что никак не выразишь такую работу. Кто Игоря к тому же «Ропагу» привлек? Он, Геннадий. А где это отражено? Через какие цифры показать, насколько ребята честнее стали работать, насколько веселее жить? Комсомольская работа незаметная, за нее не получишь ни наград, ни диплома, и в разряде за нее не повысят, и никогда ее всю не переделаешь, и никогда в ней не добиться, чтобы все шло хорошо. Но, может, поэтому лично для него она красивей любой другой. Ее делаешь своей совестью, и награждает тебя тоже твоя совесть. Ведь как на заводе Юрьева любят! В этом тоже награда... Проще простого — выступить завтра на комитете и в клочки разнести Веру с ее моральями. Ребята его поддержат, если дело пойдет на конфликт...

Воспоминание о Вере смутило его, тут началось что-то такое запутанное и странное, что лучше об этом не думать.

Отправить кого-нибудь другого? Кого? Геннадий еще до Шумского все списки десять раз пересмотрел.

Невозможно представить себе, что Игоря не будет в городе. До сих пор они с Семеном не могут привыкнуть к пустой койке Игоря в их комнате, а тут...

Ветер качал фонари, тени скользили по мостовой, и казалось, что ветер раскачивает тени.

День начался великолепно. За каких-нибудь два часа Игорь полностью согласовал сроки ремонта, и начальник цеха нацарапал в углу графика свою подпись, похожую на зубья пилы. Чтобы оценить это чудо, надо было знать начальника прокатного цеха. Считалось, что иметь с ним дело — пытка. Он обладал желчным характером: принимая станок из ремонта, цеплялся к каждой мелочи, сквалыжничал из-за грошового болта. Со всеми он ссорился и особенно ожесточенную и безнадежную войну вел с отделом главного механика. Лосев умело сваливал вину за неполадки изношенного, допотопного оборудования на цех, и как ни сопротивлялся начальник прокатки, всякий раз он оказывался битым. Его не поддерживали не только потому, что боялись связываться с Лосевым, а главным образом потому, что начальник прокатки необдуманно ссорился и портил отношения с теми, кто мог бы поддержать его. И никому не приходило в голову, что скверный характер этого человека — не причина плохого

отношения к нему, а следствие, что всякая новая несправедливость еще больше озлобляет его...

Но в этот день случилось чудо. Очевидно, это был волшебный день. Впрочем, день и не мог оказаться иным, поскольку и ночь, и вечер, и вчерашний день, и весь месяц — все, все было удивительным...

После прокатного Игорь направился в механический, к Семену Загоде, и договорился с ним провести некоторые замеры на «Ропаге». Замеры требовались для окончательного эскиза. Семен, чудесный парень, согласился сразу, хотя теперь ему придется часто останавливать станок, и вообще это для него морока. И если начальство заметит, ему устроят настоящую обдирку.

Затем Игорь заказал ребятам блок для абажура...

Выходя из цеха, он столкнулся с Лосевым.

— Вы чего тут болтаетесь? — спросил Лосев. — Я вам поручил график прокатного утрясти.

Случись такое вчера, Игорь смутился бы, случись час назад — он похвастался бы подписанным графиком, и Лосев наверняка похвалил бы его. Теперь же Игорь посмотрел Лосеву прямо в глаза, чувствуя, что смотрит дерзко, и радуясь этому.

— А я не болтаюсь, — сказал он, прищурясь, будто старался разглядеть что-то маленькое, малозаметное.

Если бы Лосев знал, о чем Игорь договорился с Семеном, какой готовится ему подарочек! И то, что Лосев вот тут стоит и ни о чем не имеет понятия, не знает, что, по сути, реконструкция «Ропага» уже началась, наполняло Игоря озорным чувством превосходства. Долгожданным, злорадным, приятнейшим чувством, которое будет длиться и сегодня и завтра, до тех пор, пока он с Верой не пригласит Лосева в числе других полюбаваться на законченные чертежи и расчеты.

— Именно болтаетесь, — повторил Лосев, недоверчиво глядя в глаза Игоря. — Если я еще раз...

Игорь выслушал его нотацию с удовольствием.

— Чему вы улыбаетесь? — вскипел Лосев.

— Хорошее настроение. Вот вас встретил...

Не дожидаясь ответа, он зашагал мимо Лосева, руки в карманах тужурки, походка легкая, губы трубочкой. И жалел только об одном — почему никто не слышал их разговора.

За спиной у Игоря — ошеломленное молчание. Он чувствовал, что Лосев смотрит ему вслед с таким видом, как если бы игрушечный пистолет вдруг выстрелил настоящей пулей. Приятно, черт возьми, именно так расплачиваться с долгами!

Под ногами хлопал расквашенный снег. Проносились грузовики, брызгая грязью. Надо беречь брюки. Игорь свернул с дороги, скатился по льдистой тропке к заливу. Костюм был единственным, и выходной и рабочий: после свадьбы Тоня упростила не надевать старую курточку. Во-первых, он теперь техник, надо держать марку; во-

вторых, уже не холостяк: если муж ходит обрванным, винят жену. Удивительно ловко она добивалась своего, и при этом он оставался довольным и убежденным, что сам решил сделать именно так.

Игорь остановился на берегу, потянулся, с наслаждением разминая мускулы.

У низкого берега дыбились желто-зеленые торосы льда. Грязный от копоти снег в глубине залива постепенно светлел, лишь кое-где темнели сизыми пятнами талого льда, но дальше и они пропадали, сливаясь с небом в одну молочную гладь. Оттуда, из белой мглы, неся ветер, гоня прозрачные волны снежной пыли. Игорь присел на корточки, взял в пригоршню снег. Мазь для лыж нужна третий номер, решил он.

Ветер заложил уши, отбросил пестрые звуки заводского двора — натужное пыхтение паровозика, стук компрессора, крики грузчиков. Игорь подставил лицо навстречу его тугому посвисту и закричал что-то приветственное и вызывающее, чувствуя, как сердце быстрее гонит кровь, чувствуя каждую клеточку своего тела, каждый самый маленький мускул.

Так бывает в разгар веселой вечеринки, когда выскочишь на минутку в коридор отдышаться, освежиться, побыть один на один со своим счастьем. У него было отличное настроение, все удавалось ему сегодня, все получалось так ловко именно потому, что он был счастлив. Счастье и радость делали его сильным, и это не могло не действовать на людей. Счастье заразительно. Он вспомнил, как обрадовался Семен, узнав, что Игорь снова будет работать с Верой. Пока что от Веры это секрет. Семен, добрая душа, мучился поступком Игоря. Ну, ничего, скоро Вера узнает Игоря по-настоящему. Ему нисколько не жаль, хотя идея его собственная, пускай и Вера с ним работает. Пусть убедится, что Игорь совсем не жмот.

Что-то дрогнуло, изменилось в белесой высоте неба, оно быстро наливалось сиреневой краской, ветер слабел, и стало слышно, как потрескивает лед.

Пересекая железнодорожную насыпь, Игорь оглянулся назад. Впоследствии, перебирая в памяти случившееся, он всякий раз, добираясь до этой минуты, не мог понять, какая сила заставила его обернуться. У ворот механического стояли трое: Лосев, высокий, в распахнутой кожанке с каракулевым воротником, в каракулевой, сдвинутой набок кубанке; Геня — тоненький, длинноногий, без пальто, с волосами, растрепанными ветром, потиравший замерзшее ухо; и третий — сутулый, в длинном, мешковатом пальто, — это был дядя. Облачка пара клубились у их губ. Игорь надумал подойти, окликнуть Геню. На Лосева ему было плевать, но с дядей встречаться не хотелось. Леонид Прокофьевич был, пожалуй, единственный человек, перед которым Игорь ис-

пытывал какую-то неловкость за свое счастье. Впрочем, тут все было сложнее, и он избегал размышлять на эту тему.

Леонид Прокофьевич Логинов приходился Игорю дядей со стороны матери. Родители Игоря погибли в войну, отец — на фронте, а мать убило снарядом перед самым концом блокады. Леонид Прокофьевич взял племянника к себе. Детей у него не было, но семья большая — все родственники Ньюши, молодой жены. Теща, братья, тетки — все они жили в большой директорской квартире, потому там всегда казалось тесно, приходили какие-то гости, играл патефон, на плитке постоянно шумел старый медный чайник.

Игорь был предоставлен самому себе. Его баловали, но никто им не интересовался. Ему совали деньги на кино, покупали коньки, но никто не беспокоился, давно ли он ходил в баню. В этой обстановке приветливого равнодушия Игорь скоро привык заботиться о себе сам. «Всякая птичка своим носиком клюет», — учила его Ньюшина мать. Его ругали за плохие отметки, больше потому, что так положено, он это чувствовал и довольно спокойно сносил свои неудачи. Пожалуй, только дядю всерьез огорчали его школьные дела.

— Обалдуй из тебя растет, — озабоченно говорил он. Лицо его при этом становилось теплым и непривычно нежным.

Он садился с Игорем в своем кабинете за стол и начинал объяснять ему задачки. Они наперегонки решали длиннющие дробы. «А мы вас, мадам, попросим за скобочку», — приговаривал дядя. «А чем отличается удельный вес от удельного князя?» Заниматься с дядей было весело, самые скучные теоремы он умел делать интересными. Взять какой-нибудь косинус. Игорь считал, что косинусы только в учебниках существуют, а оказалось, что весь завод заполнен косинусами, на каждом станке вертятся косинусы, и цех построен из косинусов... Жаль только, что дядя редко мог заниматься с Игорем. Иной раз начнет решать задачку и задремлет. Он работал директором завода, приезжал домой поздно, иногда и ночевал на заводе. Игорю нравилось, как дядя держал себя с ним — откровенно и серьезно, будто советовался относительно кого-то третьего: «Положение складывается сложное — настоящего родительского воспитания дать тебе я не могу, видишь сам, какая загрузка. На мадаму (так он величал тещу) надежды никакой, она человек старой формации. Ньюшу самое воспитывать надо, разве она с тобой справится?» — «Не-е, где ей», — озабоченно подтверждал Игорь. «Выходит, следует тебе самому взяться за свое воспитание. Если бы ты был парень волевой...»

Игорю льстило такое доверие. Дядя давал ему в качестве руководства книги Макаренко, осо-

бенно нравилась Игорю «Педагогическая поэма». Некоторое время он старался относиться к себе, как к бывшему беспризорнику, — приучал себя к труду, тренировал свою волю. Но оказывалось, что он мог заставить себя делать все, что хотел, и игра теряла смысл. Учился он плохо не потому, что был неспособен, как раз наоборот: он чувствовал, что может учиться хорошо и в любую минуту нагнать товарищей, а раз так, то нечего волноваться из-за каких-то двоек, троек.

В кабинете у дяди стояло три больших шкафа с книгами. Игорь читал все без разбору. Всякий раз ему хотелось подражать герою книги. Он был впечатлителен и доверчив. Ему нравился Том Сойер, и он решил, что надо жить, как Том, — обманывать тетку, искать приключений, быть хитрым, изворотливым, не бояться учителей. После Тома Сойера ему понравились «Охотники за микробами», и он решал, что станет ученым и сделает какое-нибудь неслыханное открытие. Через неделю он уже был подпольщиком, как Бауман, а потом мечтал бродяжничать, как молодой Горький, потом путешествовал, как Миклухо-Маклай...

— Бред собачий у тебя в голове, — сердился дядя. — Мне совершенно непонятно, что из тебя получится.

А когда Игорь читал про Рудина и Обломова, то убеждался, что и у него самого много такой же нерешительности, как у Рудина, и ленив он, как Илюша Обломов. Сколько раз, например, он давал себе слово вставать в половине восьмого и делать под радио зарядку.

Чужая семья не располагала его к откровенности. Он рос замкнутым и сдержанным. Ему не хватало старшего, умного и любящего сердца. С обостренной чуткостью подростка он мгновенно улавливал в чрезмерном внимании взрослых обязанность, подчеркнутую заботливостью родственников, жалость — все что угодно, кроме любви. И он сразу ошестинивался: Это была та полоса жизни, когда кажется, что нет друзей и не можешь ни с кем подружиться. И стыдно и страшно делиться своими переживаниями. И кажешься сам себе гадким и ужасным. Кругом пусто. Люди какие-то равнодушные. Его тянуло к взрослым мужчинам, они одни казались ему достойными друзьями, но никто из них не обращал внимания на нескладного, угрюмого подростка. Даже дяде он стеснялся открыться. Леонид Прокофьевич был целиком поглощен своими заводскими делами. И кроме того...

Началось это на уроке физики, когда речь зашла об Эдисоне. Игорь, отвечая, назвал его в числе великих электротехников. Учительница строго поправила его: Эдисон не ученый, а типичный американский делец, присвоивший чужие изобретения. Как раз накануне Игорь дочитал книжку об Эдисоне. Это была книга из серии «Жизнь замечательных людей». Ему нравилось,

что Эдисон был газетчиком и работал в типографии. А главное, неистощимая изобретательская выдумка Эдисона. И фонограф, и дуплексное телеграфирование, и щелочной аккумулятор, всего тысяча триста изобретений. Все эти сведения Игорь выкладывал с вызывающим торжеством, торопясь показать свою начитанность и свои знания сверх программы. Но учительница вдруг закричала на него, посадила на место и до конца урока отчитывала его, говоря, что он не патриот, что он преклоняется перед Западом. Игорь слушал ее, посмеиваясь. Когда учительница спросила, ясна ли теперь ему его ошибка, он сказал, что все это чепуха и она говорит неправду. На классном собрании учительница назвала его испорченным, грубияном, человеком, недостойным быть пионером, и требовала, чтобы он извинился. Он обиделся и упрямо стоял на своем. Кто изобрел фонограф? А все остальные аппараты? Черт с ним, с Эдисоном, ему важна была истина. В чем он должен извиняться? Пусть ему докажут.

После классного собрания он возвращался домой вместе со старостой класса Левкой Воротовым.

— Охота тебе связываться с ней, — сказал Левка. — Плюнь и разотри. А книжка твоя интересная. Здорово мозги крутились у твоего Эдисона.

Дома Игорь попробовал поделиться своей обидой с Нюшей.

— Так тебе и надо, не суйся, — сказала она, — и не смей больше брать книги без спроса.

Узнав про историю с Эдисоном, дядя выругался и сказал Игорю:

— Перегнула ваша физичка, молоденькая она еще, но, с другой стороны, — сколько лет наших изобретателей ни во что не ставили, дикарями нас называли, доказывали нам, что все идет с Запада...

Он разгорячился и стал рассказывать про бедственную судьбу Яблочкова, про мытарства, испытанные до революции изобретателем тепловоза Гаккелем, с которым он был знаком. Больше же всего Игоря поразила жизнь Павлуши Сидякова, безызвестного самоучки с Нарвской заставы. Считался этот Павлуша блаженным, расчеты всякие стихами писал, баловался, таланту в нем разного было хоть отбавляй. Чего только он не изобрел — копёр малогабаритный, резцы специальные, вибратор, фильтр масляный, пресс кривошипный. Целый институт был, а не человек. И ни одного патента не получил. Опутали его заводчики долгами. Как суббота, инженер Отто Клейст ведет его в «Ливадию» и напаивает до бесчувствия — вот и вся награда. А сам Клейст на свое имя двадцать с лишним Павлушкиных патентов оформил. На чердаке в заводоуправлении мастерскую ему сделали, — понимали, что за человек. Но чуть Сидяков начнет разрабатывать не то, что им нужно, не дают ему хода. До революции как ра-

ботали на заводе? Главным образом вручную, «на грыже». Познакомился Сидяков с Бенардосом, известным сварщиком, и занялся сварочным автоматом для котлов, чтобы выручить грохнувших от адского стука котельщиков, — запретили ему это делать; новое сверление предложил для пушек — отобрали его чертежи, в Бельгию услали. Он записал. После революции приезжали к Сидякову какие-то представители оттуда, предлагали за границу уехать, он отказался, а через год нашли его на путях зарезанным, вроде поезд задавил.

— Талантище был, может, не хуже Эдисона, и столько сделал, — сказал дядя, — а ни в какой книге про него не найдешь. И сколько таких! Вот некоторые ворчат: квасной патриотизм. А согласись, ведь факт, что наш русский изобретатель почти никогда не становился капиталистом, дельцом вроде Белла, или Вестингауза, или того же Эдисона. Возьми даже таких, как Дизель, Лаваль, — все они сразу создают фирму, выпускают акции, гребут прибыли, а нашему на хлеб хватало — и ладно.

Он говорил начистоту, так же, как он говорил со своими друзьями, и постепенно горечь обиды у Игоря растворилась. Значит, мог дядя разобраться и найти то настоящее, что было и у физички и в книжке, и это настоящее составляло ту правду, с которой Игорь соглашался всем сердцем. Ему хотелось, чтобы дядя всегда разговаривал с ним так же, как он разговаривал со своими старыми друзьями.

Они все были какие-то очень разные. Игорю запомнился тугоухий старик, мастер с хлебозавода, от него часто припахивало водкой, а когда он пел, Нюша зажмуривалась, и подвески на люстре звенели, такой неимоверной силы был у него бас. Приходил профессор-астроном, все его звали Пушок, барственно-осанистый, с красивыми седыми висками, и, что изумляло Игоря, на лацкане его широкого костюма пестрели четыре ряда орденов — и советских и зарубежных. Самым веселым был Киселев, работал он в райкоме. Несмотря на свою хромоту, он сам водил машину, а когда он шагал, то протез у него на ноге щелкал. Киселев убеждал Игоря, что это срабатывается движок, который сам переставляет и сгибает ногу.

Все они называли дядю Ленкой, выпивали по несколько чайников чая, пели старинные, неизвестные Игорю песни — «Белая армия, черный барон», про молодого буденновца. У старика хлебобопека навертывались слезы, и он начинал вспоминать людей, которые Игорю были знакомы только по названиям улиц, — Газа, Алексеев, Огородников.

Игорю долго не понимал, что связывает этих так непохожих друг на друга людей, — они способны были часами обсуждать политику коммунистов во Франции или программу партучебы. С не-

доумением они спрашивали друг друга, зачем строят высотные дома, когда так плохо с жильем, зачем нужны эти колоннады, эти роскошные дворцы, когда еще столько коммунальных квартир и общежитий. По их словам выходило, что еще есть много плохих колхозов, где люди бедствуют и не хватает хлеба, обычного черного хлеба. И с животноводством тоже скверно. Упомянуть про хорошую заграничную технику считается непатриотичным. «А в действительности, — горячился астроном, — американская оптика пока-то лучше нашей...»

Сперва такие разговоры Игоря обижали. Он не мог себе представить, чтобы наша страна в чем-то могла отстать, чтобы чего-то у нас было меньше, чем за границей. Если и бывают отдельные недостатки, так их должны немедленно исправить. И в школе на уроках, и по радио, и в кино хвалили высотные дома и показывали, в каких шикарных квартирах живут рабочие. Там все выглядело хорошо. Игорь не мог не верить этому, и ему хотелось верить этому больше, чем дяде, потому что этому верили все его товарищи в классе, потому что верить этому было приятно и куда легче, чем верить дяде. Ему самому отчаянно хотелось верить в хорошее, видеть хорошее. Но не верить дяде и его товарищам ему было трудно, они были старые коммунисты, они воевали в Отечественную войну, а дядю недавно наградили Трудовым Знаменем за восстановление завода. Иногда в классе так и подмывало поднять руку и спросить: кто же, черт возьми, прав? Не для того, чтобы выяснить, а для того, чтобы убедиться в своей правоте, и не сомневаться, и иметь что возразить и дяде и его друзьям. Но он ничего не спрашивал, боясь, как бы из этого не получились неприятности, вроде истории с Эдисоном.

Не вытерпев, он однажды сказал астроному: «Взяли бы да и написали про телескопы в газету! Трахнули бы этих бюрократов из вашей Академии наук. Почему вы не напишите? Я бы их за такие дела под суд. Почему вы их под суд не отдаете?» Пушок покраснел и долго смеялся. И все кругом улыбались и смотрели на Игоря, как будто он ляпнул ужасную глупость. Он встал из-за стола и вышел. Ему было стыдно не за себя, а за них всех. Он поставил свою раскладушку в кабинете дяди и лег. Из столовой доносились голоса. Игорю казалось, что там говорят о нем, он чувствовал, как пылает его лицо, обида жгла его, он сейчас ненавидел всех и жалел, как мальчик может жалеть взрослых и старых людей за то, что они не смогут стать такими, каким будет он...

Поздно вечером дядя вошел в кабинет. Не зажигая света, перебрал какие-то бумаги на столе. Вся обида Игоря обратилась сейчас на этого человека. Он мысленно называл его вруном и лицемером, и, вспоминая о том, как дядя молчал, опустив глаза в чашку, он заново переживал все слу-

чившееся, видел себя, потного, нескладного... Он вдруг приподнялся и спросил:

— Дядя Леня, значит, ваш Пушок — трус? Имеет ордена, а сам трус?

Тайное злорадство распирало его. Пусть они не думают, что он маленький мальчик, дурачок. Он заставит их повернуться. Он загонит дядю в тупик. Игорь улыбался мстительной улыбкой.

— Ах ты паршивец... Как ты смеешь!..

Впервые он услышал, как дядя кричит на него, это было страшно. Если бы Игорь не лежал в кровати, дядя наверняка дал бы ему затрещину.

Дядя грузно сел на диван и сказал с горечью:

— Не с чем тебе сравнивать... вот беда. Сопляк ты. И в войну ты еще был сопляком. Весь мир мы спасли. Такие, как Пушок. А ты замахи-ваешься... А человека куда подняли? Ты бы раньше трехклассное кончил, и марш на завод — до пятидесяти лет вкалывай, спины не разогнув, света белого не видя, а потом пошел вон, на улицу, под забор. Дед твой так прожил, и тебе такое полагалось. За границу тебя б отправить, порылся бы в мусорных ящиках и понял бы, что такое власть советская.

В его тоне и следа не было от того нудного, учительского, что так разочаровывало Игоря, сейчас все говорилось от души, с гневом.

— Значит, если меня в школе учат, то мне и спрашивать ни о чем нельзя, значит, и думать мне нельзя? — срывающимся от обиды голосом сказал Игорь.

— Нет, ты спрашивай, — это хорошо, что ты думаешь... Искать — ищи, как лучше сделать. Как, чтобы быстрее. Но смеяться я тебе не позволю! Это ж мое. Наше. Собственное. Единственное... Сердце ж одно у тебя? С другим ты жить не сможешь? Вот и это — как сердце. И думать о нем надо, как о сердце. А думать надо, а то... — Леонид Прокофьев вздохнул, подошел к кровати и, не договаривая, виновато поворочил Игорю волосы.

В этом вздохе и прикосновении Игорь ощутил что-то невысказанное и очень сложное. Он ничего не мог понять. По его представлениям, дядя был один из тех, на ком держался окружающий мир. Ведь он хранил истину, где же тогда эта истина, если дядя сам что-то ищет и не понимает?

Наверное, лучше этого не касаться. Игорь инстинктивно отшатывался от непосильной ему сложности, от неразрешенных тревог, от угрозы разочарования в единственном близком человеке.

И дядя, чувствуя это, переводил разговор на заводские дела. Не хватило средств достроить новую котельную, у вальцовщиков появилась идея изменить технологию, а министерские спецы возражают, в сборочном не тянет мостовой кран, — то ли ставить новый кран, то ли перенести сборку на открытую площадку? Его директорские разговоры, которые затевались без всяких воспитательных

целей, а просто из потребности излиться перед внимательным слушателем, открывали Игорю неведомый мир людей, создающих машины. Тут были свои противоречия, и споры, и раздумья, но от них не становилось тягостно на душе. Тут могла помочь собственная находчивость, выдумка, тут требовалось мужество, а порой и хитрость. И долго еще Игорь ворочался на раскладушке, размышляя, как поступить со старыми штампами: отдавать их на переплав или переделывать?

После восьмого класса он решил поступить на завод. Никакие отговоры на него не действовали. Он упрямо твердил одно: надоело учиться. Школьные дела его действительно обстоили неважно. Но подлинная причина заключалась в другом: он жаждал независимости. Перед ним вдруг открылась унижительность его положения в глазах Нюши, и ее матери, и Нюшиного брата. В таких случаях юность судит себя беспощадно.

— Ну что же, испытаем и это, — огорченно уступил дядя.

Он устроил Игоря в механический, учеником на фрезерный. Заводская жизнь превзошла все ожидания. Какое удовольствие было в проходной доставать из кармашка жесткой синей спецовки новенький пропуск в синей корочке, повесить на доску номерок. Мчаться вместе со всеми в столовую, расплачиваться своими заработанными. Он никогда не забудет волнения и страха, с каким впервые нажал пусковую кнопку, и фреза завертелась, вгрызаясь в металл. Ему казалось, что не под фрезой, а под его могучими руками из неуклюжей заготовки проступают блистающие контуры шестерни. Даже мыть усталые руки, перемазанные в масле, кисло пахнущие сталью, оттирать их песком под струей горячей воды в длинной, шумной умывальной, зажатому с обеих сторон плечами товарищей, было удовольствием.

Однажды, вернувшись с вечерней смены, Игорь застал дома четырех военных. Нюша и теща плакали на кухне. Брат Нюши, косматый фоторепортер, ходил за лейтенантами и допытывался, будут ли с него брать показания. Никто не отвечал ему; военные торопливо простукивали стены, перелистывали книги и швыряли их на пол. Взяв какие-то письма и старый блокнот, лейтенанты опечатали кабинет дяди и уехали. Игорь просидел всю ночь в коридоре на сундуке, глядел на багровую сургучную наклепку на двери кабинета. Порой наплывало забытие, и во сне он вбегал в кабинет, — там сидел дядя. Игорь с ужасом рассказывал ему обо всем, дядя хохотал, ерошил ему волосы. Игорь просыпался и снова видел сургучную печать на дверях, и ему казалось, что это сон, и просто ему никак не отвязаться от этого глупого, страшного сна.

С тех пор он не видел дядю. На заводе, на собрании, Логинова называли врагом, говорили о разложении, но рабочие молчали. Поначалу Игоря собирались уволить, но вмешался Коршунов, и

обошлось. Мастер и рабочие в цехе стали относиться к Игорю почему-то лучше, ему подкидывали денежную работу, все видели это, и никто не ворчал. Он отдавал все деньги Нюше. Он пробовал утешать ее. Он уверял, что это ошибка, разберутся и выпустят, и все пойдет по-старому. Нюша ожесточенно смеялась. Смех ее переходил в слезы. Она кричала, что Леонид Прокофьевич загубил ее жизнь. Она не хотела ничего слушать и стала избегать Игоря. Потом она подала на развод и вместе с матерью уехала в Великие Луки. Игорь переселился в общежитие, квартиру занял новый директор.

По одну сторону от койки Игоря спал Семен Загода, по другую — Геня Рагозин. Они спали, спокойно похрапывая и присвистывая. Вечером они играли в шахматы, ходили в кино. Семен занимался фотографией и читал научно-фантастические романы, Геня учился играть на гитаре и тренировался с пудовой пудрой. Они пробовали заговаривать с Игорем, — он молчал. Он чувствовал себя больным. После работы он часами сидел в сквере на скамейке. Иногда Игорь делал крюк и проходил мимо дома, своего бывшего дома. Там на окнах висели какие-то новые желтые гардины, горел свет, двигались чьи-то тени. Игорю становилось страшно — как будто никогда не было дяди Лени. От мертвого остается могила, а тут — ничего.

Если непогодило, Игорь ложился на койку, прикидываясь спящим.

Проходили месяцы, а дядю не выпускали. Арестовали и Киселева и некоторых других друзей дяди. «Неужто вот такими и бывают враги народа?» — спрашивал себя Игорь. Теперь он заставлял себя верить в то, что их арестовали за дело. Но почему-то в самом скрытом тайнике души он жалел их и думал о них только хорошо. Теща говорила про дядю: на других умен, на себя глуп.

Игорь вспоминал разговоры дяди и его друзей о высотных домах, о запущенных колхозах. Он упорно доказывал себе, что они враги, но внутри что-то противилось. И он боялся, считая свое заглавное сомнение преступным, часто старался подавить его, ни о чем не думать, избавиться от утомительных и ненужных мыслей.

Как-то Геня Рагозин сказал ему: «Раз арестовали — значит, правильно. Законно. И нечего тебе ломать голову. Без нас разберутся. Это не нашего ума дело. Там тоже не дураки сидят». Для него все было просто и понятно. Игорь завидовал ему, он тоже хотел жить в ясности, катиться по прямой, укатанной колес вместе с Геней и Семеном.

Дружба в молодости складывается по своим, непонятным для зрелости законам. Ее не смущает различие характеров, она безрассудна, доверчива и не любит заглядывать наперед. Если бы эти трое

встретились взрослыми, они никогда не смогли бы сойтись.

Новая дружба стала спасением. Игорь вкладывал в нее всю накопленную тоску по семье, по братьям, которых у него никогда не было. Он спасался в ней от своего одиночества, от томительных размышлений. Он купил себе морскую фуражку с капустой, такую же, как у Геня, налаживал Семену новый экспанометр. Ходил в Дом культуры на танцы и всерьез занялся лыжами.

Через год Игорь вступил в комсомол. Никакие мысли о прошлом больше не лезли в голову. Получил пятый разряд. Комсоргом цеха тогда был Яша Васин. Яша уговорил Игоря поступить в вечерний техникум. Игорь начал готовиться. После годичного перерыва он с аппетитом накинудся на книги. И все же, если бы не Яша, он, вероятно, не дотянул бы до экзаменов. Но Яша оказался на редкость прилипчивым парнем, он не отпускал Игоря ни на шаг, пока тот не сдал экзаменов. Каждый вечер либо сам Яша, либо кто-нибудь из бюро заглядывал в комнату: проверяли, занимается или «сачкует». Это был настоящий комсорг; имея Яшу высшее образование, его давно бы выбрали секретарем заводского комитета.

По мере того как Игорь влезал в занятия, комсомольские дела занимали его все меньше. С него хватало волнений за учебу. Стоило взглянуть на его ликующее от радости лицо победителя, одолевшего очередной раздел какой-нибудь теоретической механики. Потирая воспаленные от недосыпания глаза, он блаженно разгибал спину и снисходительно смотрел на спящих ребят. Пока они похрапывали, он забираясь по лесенке знаний все выше, терпеливо отсчитывая ступень за ступенью. Каждая страница, каждый час придвигали его к цели. С азартом стяжателя он приобретал знания — единственно вечное, как он был уверен, ни от чего не зависящее богатство. Он станет техником, а затем, возможно, и инженером. Есть у человека диплом — значит, есть у него неизблемая жизненная опора.

Рассчитывать каждую свободную минуту, мчаться с завода в техникум, из техникума домой, просиживать над конспектами за полночь, отказывать себе во всем — это требовало постоянного усилия воли, но зато в этом была своя полнота жизни. Он отдавал работе и учебе все лучшее, что имел, нисколько не жалея, потому что взамен получал надежный и уютный мир станков, расчетных коэффициентов, осей и шестерен, мир, где все вопросы решались с помощью логарифмической линейки, а формулы исключали всякие сомнения. Никакие тревоги времени не влияли на цифры, на схемы. Стальные спины станков служили непроницаемым убежищем.

С тех пор как он познакомился с Тоней, ему стало уже совершенно некогда думать ни о чем другом. Хотелось подольше быть вместе, необходимо было гнать всю курсовые проекты. За То-

ней ухаживал начальник цеха Ипполитов. Опасное соперничество вынуждало Игоря тратить еще больше времени, чтобы как-то «держать марку»; он читал романы, заучивал стихи, сшил себе пиджак, водил Тоню на концерты, в театр. На все это требовались деньги, а для этого надо было подрабатывать на сверхурочных. И на все это опять нужно было время. А главное, надо окончить техникум, и закончить с блеском.

Эгоизм его никого всерьез не оскорблял. Игорь любил своих друзей, он умел трудиться, не щадя себя, а это у рабочих людей всегда вызывает уважение. Геня и Семен любовались его целеустремленностью и, как могли, помогали ему в поединке с Ипполитовым.

Пусть себялюбивый, испорченный бездумно потребительским отношением к жизни, он все же был сын своего времени, — в день похорон Сталина стоял вместе со всеми на Дворцовой площади, и горькие слезы катились по его щекам. Хрипло рыдали обмерзлые серебристые рты репродукторов, десятки тысяч людей застыли, сплавленные горем, которое казалось катастрофой. Никто в этот час не стыдился своих слез. «Что теперь будет? Как мы теперь будем?» — твердил Геня.

Игорь впервые видел его таким растерянным и по-братски жалел и утешал: когда на корабле умирает капитан, кочегар все так же должен кидать уголь в топку. Эта трезвая рассудительность выводила Геню из себя. В ответ на все попреки Игорь твердил свое: тем более я должен учиться! В то время как Геня и Семен, потрясенные случившимся, без конца спорили, обсуждали все, что происходило вокруг них, сокрушались, — он сидел, зажав уши, и зубрил.

Впрочем, сердиться на него долго и всерьез было невозможно. Возвращаясь от Тони, он смотрел на друзей такими затуманенными, нездешними глазами, что они, вздыхая и чертыхаясь, оставляли его в покое.

Огромные события шли, не затрагивая его, как за стеклом вагона.

...Неожиданно для всех месяц назад вернулся на завод Леонид Прокофьевич. Он пошел работать мастером в механический цех. Его встретили с щедрой радостью, с тем чисто русским чувством, которое, не считаясь ни с чем, готово оплатить обиды, причиненные другим, и одарить всем, что есть в доме.

Прибывав в цех, Игорь остановился и долго издали смотрел на дядю. Что-то сдавило ему горло, он все пытался сглотнуть и не мог.

Дядя сильно изменился. Не то чтобы постарел, он как-то высох, потемнел. Они обнялись. От прикосновения его сухой, колючей щеки у Игоря все замерло. Он вспомнил, как он поверил всему, отрекся, осудил этого самого близкого, дорогого ему человека.

— Ты уже совсем взрослый, — с недоумением сказал Леонид Прокофьевич. Голос его

потерял звучную раскатистость, стал скрипуче жестким. Темные, без блеска глаза всматривались из глубоких глазниц неотступно, как будто ища за сбивчивым, торопливым рассказом Игоря иной, скрытый смысл. Под их настойчивой пытливостью Игорь чувствовал себя все более виноватым. Ему казалось, что дядя все знает. Женитьба, диплом техника, новая комната, все оказалось не то, как будто дядя ожидал от него чего-то другого, более важного. Игорь почувствовал себя несправедливо обиженным и ухватился за эту обиду, заслоняя ею от терзавшего его стыда.

Они расстались как чужие.

Бывая в цехе, Игорь обходил стороной стеклянную кабинку мастера.

Переполненный своими удачами, любовью, он непроизвольно уклонялся от всего, что грозило нарушить его блаженное, не желающее ни о чем думать счастье.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Впоследствии, перебирая в памяти все, что с ним произошло, Игорь всякий раз добирался до минуты, когда уходя с залива, он увидел Геню Рагозина рядом с дядей и Лосевым. Вместо того чтобы подойти к ним, он свернул за насыпь. Все дальнейшее зависело от этой случайности. Если бы он окликнул Геню, то Геня рассказал бы про вызов на комитет, они посоветовались бы и что-нибудь придумали. И все повернулось бы иначе. А Геню он не окликнул из-за дяди. А с дядей ему не хотелось встречаться потому, что... Ну, словом, проклятая случайность, и больше ничего.

Игорь отправился на комитет, не имея понятия, зачем его вызывают. Вероятно, насчет предстоящих соревнований. Главное, чтобы там долго не задержали, — вот о чем он тогда беспокоился. Потому что после работы они с Тоней уговорились покупать стол.

Комитет комсомола занимал две комнаты. Большая служила секретарю кабинетом, там же происходили заседания комитета, в меньшей, проходной, хозяйничала Галя Литвинова, технический секретарь. Она сидела между несгораемым шкафом и просто шкафом, среди вороха бумаг, сутулая, сердитая, с ячменем на глазу. Поразительно не вело этой Гале. Сколько помнил ее Игорь, всегда у нее то флюс, то ячмень. Она была порядочная злючка, никого так не боялись в комитете, как ее. Боялись и любили. И когда Галя болела, то в комитете как-то сразу становилось скучно и тихо.

В комнате былолюдно. Пахло мокрой одеждой и табаком. На железной садовой скамейке, неизвестно как попавшей сюда, томились «персоналщины», ожидая вызова на комитет. Несколько человек осторожно курили возле полуоткрытой двери.

Комсорг прокатки, навалился на стол, тихо и страстно доказывал Гале:

— Я понимаю, день Конституции. Ну, чего я тут буду придумывать? Дай прошлогодние тезисы.

— Аннулированы. Привык по шпаргалке, — сказала Галя. — Хватит. Перестраивайся.

— Галя, солнышко, Галюсенька, ну так, для общего масштаба.

— И не надейся. Сам не в состоянии, поручи кому-нибудь... В парткабинете материалы есть...

Игорь придвинул телефон и позвонил Тоне. Ему ответил старший плановик Корешков. Игорь никогда не видел его в лицо, но хорошо знал по голосу. И знал, что Корешков знает его голос. Игорь повернулся к стене и перешел на бас.

— Она вышла, Игорь Савельич, — сказал Корешков с усмешкой.

Игорь торопливо повесил трубку. Все что касалось Тони, до сих пор продолжало его смущать. Он стеснялся зайти к ней в отдел, стеснялся пройти с ней под руку на заводе.

На стене висели сводки по сбору металлолома. Самый низший балл имел прокатный цех.

Игорь подмигнул комсоргу прокатного:

— Люди гибнут за металл? А им Галина ставит балл.

Комсорг рассмеялся, а Галина, роясь в шкафу, сердито фыркнула:

— Также мне Мефистофель, сам ни разу на субботник не явился.

Игорь выставил руку с часами, постучал ногой по столу:

— Четыре двадцать. Жду не больше десяти минут. Когда вас наконец к точности приучат?

Недавно демобилизованный моряк в бушлате рассказывал про поход в Голландию. Игорь подошел ближе.

— С жильем там полный зарез, — рассказывал моряк. — Особенно, конечно, рабочему человеку. Селятся на воде, в каналах. Плот сколотят, на плоту домик. Чистенький, конечно, но верный ревматизм. Заправляет там королева, у них там такой порядок: муж королевы королем не считается...

— Вроде как у Рябиковой, — подсказал Игорь, и все засмеялись.

Рябикова, женщина высокая, властная, легендарной силы, работала начальником охраны завода, муж ее служил рядовым охранником, и она шпыняла его со всей строгостью.

Игорю было приятно, что все обернулось к нему и засмеялись, а он даже не улыбнулся. Это всегда производит впечатление. Моряк рассказывал беспорядочно и увлеченно. Вот устроить бы такую беседу вместо прошлогодних тезисов, которые просит комсорг. Надо Гене подсказать. За последний год Игорь редко бывал в комитете, оторвался, и, может быть, поэтому многое ему сейчас виделось по-иному.

Когда Галя позвала его на комитет и когда он вошел в светлую, длинную комнату, где вдоль стола заседаний, крытого кумачом, сидели члены комитета, он прежде всего отыскал глазами Геню и улыбнулся ему. Он не виделся с ним почти неделю и чувствовал себя немного виноватым, потому что ни разу в течение этой недели не вспомнил про него.

Рядом с Геней сидела Вера Сизова; вероятно, она приняла улыбку на свой счет — прямые брови ее недоуменно дернулись, она поджала губы и уткнулась в свой блокнот. Игорю стало смешно. Все еще злится. Ничего, скоро ты узнаешь, кто такой на самом деле есть Малютин.

Шумский кивнул на свободный стул в конце стола:

— Садитесь.

Обращение нового секретаря на «вы» понравилось Игорю. Высшее образование. Прогресс.

— Техникум кончали? — начал спрашивать Шумский. — Какой диплом?.. Женат? Кем жена работает?

Игорь запнулся, непривычный к этому слову «жена», сердясь и забавляясь своим глупым замешательством.

— Она у нас, в КБ, — сказал комсорг завода управления Костя Зайченко.

— Комсомолка?

— Она? нет! — ответил Игорь и вспомнил, как Тоня говорила: «Подумаешь, чем я отличаюсь от наших комсомолок, тем, что не плачу взносов?» И вызывающе выпячивала нижнюю губу. Он был несогласен с ней, но не мог ее переспорить.

— Между прочим, Костя, ты зря ее не включаешь в вашу лыжную команду, — сказал Игорь. — Все равно, у тебя такие ползуны. — Он вспомнил и засмеялся. — Конторщики! Палки держат, как карандаши.

Костя не ответил. Костя как-то странно покусился на Шумского и не ответил. Никто не улыбнулся. Как будто Игорь сморозил какую-то чепуху. Он посмотрел на Геню. Левая рука Гени подпирала голову, закрывая все лицо. «Чего это вы такие шибко серьезные?» — хотел спросить Игорь, но ничего не спросил. И оттого что он не мог спросить это веселым, беззаботным тоном, так, чтобы все рассмеялись и зашевелились, ему стало не по себе. Наверное, они стесняются Шумского, но ему-то какое дело до Шумского? Он закинул ногу на ногу и прищурился.

— Вы, конечно, читали постановление партии по сельскому хозяйству, — сказал Шумский. — Комсомол посылает сейчас специалистов...

Игорь посмотрел на Геннадия.

— Как вы относитесь к необходимости поехать в МТС? — спрашивал Шумский.

В правой руке Геннадия был зажат карандаш, и этим карандашом он чиркал по сунку.

— ...Специальность у вас подходящая. Тех-

ник-механик. Будете руководить ремонтными мастерскими.

Игорь молчал.

От этого пренебрежительного молчания, от острого прищурения малютинских глаз Шумского охватило знакомое, противное чувство робости. Вера и Рагозин сидели рядом, чугуно-неподвижные, по их лицам ничего нельзя было разгадать.

«А может, Малютин согласится?.. — подумал Шумский. — Ох, если бы он согласился!»

— ...Для вас, молодого специалиста, это целая школа.

— Тоне там тоже найдется работа, — сказал Костя Зайченко.

Шумский поспешно подтвердил, испытывая досаду за свой излишне бодрый тон.

Громко хрустнул графит карандаша в руке Гени. Игорю стало жаль Геню, сейчас его больше всего беспокоило, как помочь Гене вмешаться. Он сказал доброжелательно:

— Почему ж именно меня? Вы же знаете, я только кончил учебу, у меня работа...

Он говорил здраво и осмотрительно, выжидая, когда Геня посмотрит на него и даст какой-нибудь знак.

Его уверенность подчиняла Шумского. «А ведь действительно, парень только — только встал на ноги, — сочувственно подумал он. — Получил диплом, всякие планы строит, а тут пожалуйста, бах-бенц...»

И в памяти Шумского возник незабываемый день, когда после защиты диплома он вместе с друзьями шел по Лесному проспекту вдоль длинной садовой решетки. Пахло мокрым железом, осенним холодком. Сыпались красные листья и неслись вперегонки по асфальту. И Шумский чувствовал себя тоже крылатым и легким. Замыслы, один блистательней другого, туго натянутые паруса надежд, музыка высоких, светлых цехов, гудение печей, апельсиновое сияние раскаленных слитков... Где это все? Только прикоснулся — и до свидания. Через каких-нибудь четыре месяца после поступления на завод его выбрали секретарем комитета, и он будет работать год и, может быть, еще год. Поди признайся кому, как страшно и трудно руководить такой огромной организацией, сотнями людей... Насколько проще было иметь дело с машинами!

Отсюда, из этого кабинета, работа в цехе казалась ему сплошным удовольствием. И никому не было дела до его страхов. Может он или не может, а раз доверили — должен сидеть здесь и разбираться с такими, как Малютин. И сумеет разобратся!

Он был не волен над собой, но в этой неволе он сейчас ощутил сладостную горечь долга. Горечь и бодрость солдатских лишений. Превосходство солдата, умеющего подчиняться.

С внезапной неприязнью он, в упор оглядел Малютину: узкое, с длинным, острым подбородком

лицо, аккуратный зачес прямых волос, прозрачные, голубовато-серые прищуренные глаза. Возмущение Шумского росло. Весь облик Малютина казался ему сейчас нагло самоуверенным. Исполненным безразличия. Нет, это не безразличие человека, умеющего владеть собой, это серое равнодушие, которое все отталкивало от себя, равнодушие непрошибаемое, недоступное никаким призывам.

— Как вы смеете так рассуждать? — Голос Шумского, поднявшись, окреп, затвердел. — Вам государство образование дало. Вам все давали... А вы что дали? Что?.. Ищите только, где ухватить кусок пожирнее...

То, что он говорил, было несправедливо, но он хотел быть несправедливым, он хотел обидеть, вывести из себя Малютина; его больше не беспокоило, что там думают Рагозин и Вера Сизова, согласны они или нет; он видел только одного Малютина и говорил, не спуская с него глаз, с каждым словом освобождаясь от пут своей всегдашней неуверенности. Было сладостно видеть, как сперва удивленно, а затем все растерянее заматались глаза Малютина, как сползало с него вызывающее спокойствие, напряженнее выпрямлялась спина. Из бездумного равнодушия наконец выглянуло что-то встревоженное. Рассчитываешь на Рагозина? Давай, давай, посмотрим, как он тебя защитит! Шумский жаждал сейчас, чтобы Геннадий вступился за своего друга.

Но Рагозин молчал.

Ни разу он так и не посмотрел на Игоря. Может быть, Игорю надо было встать и дернуть его за плечо? Игорь все еще не верил в серьезность происходящего. Все было слишком неожиданно. Он не желал в это верить. Ему казалось, что сейчас Генька повернется и захохочет: «Ну как, старик, ловко мы тебя разыграли?»

Натиск Шумского несколько ошеломил его. С чего он так взъелся? На испуг берет? Не на такого напал.

Ребята тоже удивленно уставились на Шумского.

Почти каждого Игорь здесь знал, одного меньше, другого больше; с Женей Вальковым занимались в одном политкружке; Ване Клокову механический фуганок ремонтировал в модельной; у этого чернявого конструктора из КВ — как его звать? Фетисов? — у него скандал был с чертежами, Игорю тогда влетело за него. Неужто они не понимают? Не может быть. Холодок собственного страха показался ему смешным. Все обойдется. Как обойдется, он не знал, но все обойдется. Надо только тверже держаться. Генька, наверное, молчит по политическим соображениям.

Но слишком уж долго он молчит.

Игорь услышал голос Веры Сизовой. Единственный здесь человек, перед которым он чувствовал себя виноватым. И это заставило его усмешливо скривить губы: валяй, разворачивай свое красноречие. Начинается агитация и пропаганда.

Славные традиции... счастье оказаться нужным... героический энтузиазм целинников...

— Есть у него уважительные причины не ехать? — спросила Вера. Она честно выждала. — Нет у него таких причин. (Игорю хотелось посмотреть ей в лицо, но что-то мешало.) Смешно требовать от человека энтузиазма, это — дело его совести, но элементарное выполнение комсомольского долга — обязанность каждого! Объективные данные Малютина подходят, я работала с Малютиным и знаю, что он грамотный техник, способный, поэтому я и предложила его кандидатуру. Хотя я лично не уважаю Малютина как человека...

Игорь медленно передохнул, поднял голову. Ну что ж, теперь они квиты. Отомстила. Теперь он объяснит все.

— Да, я его не уважаю, — быстро продолжала Вера. Под ее напряженно вытянутой шеей костляво обозначились ключицы. — Да, я его не уважаю. У меня с ним скверные отношения. Легче всего мне было бы не участвовать в обсуждении. А я считаю — наоборот. Человек должен пересилить свое личное. Я действую так, как подсказывают мне интересы дела. Если хотите знать, поступать так куда тяжелее.

— Чего ты волнуешься? — сказал Костя Зайченко. — Никто тебя не упрекает.

Все встрепнулись, задвигали стульями, заговорили. Плечи у Игоря обмякли. Он растегнул пуговицы тужурки, растопырив пальцы, недоуменно посмотрел на ладонь. В складках кожи поблескивал пот. Вера сама сказала обо всем. Ничего на его долю не осталось. И почему-то ребята приняли ее сторону.

— По-моему, дело ясное, — сказал Вальков.

На политгруппе он часто брал у Игоря конспект списывать. Они сидели за одним столом. А руководителя кружка они прозвали «Первоисточник».

— Ну, так как же, товарищ Малютин? — спросил Шумский.

— Да чего вы навалились? — прозвучал вдруг хриплый голос Геннадия. — Так разом не решить. Пусть подумает. В понедельник скажет.

«Ага! Высказался наконец. Вот какая его дружба. Уговаривать придет. Потихоньку. И нашим и вашим. Трус. Предатель. Прихлебай». Игорь подбирал самые обидные ругательства. Злоба оглушила его. Он не слышал своего голоса, но чувствовал только, как разлепились его пересохшие губы.

— И не собираюсь думать! Сказал, не поеду, и конец. Напрасно хлопчете, товарищ Рагозин.

Наступило молчание. Разноречивое молчание, когда каждый занят своими чувствами. Шумский читал на лицах угрюмый стыд за Малютина, раздражение; Вера холодно усмехнулась; Костя Зайченко разочарованно и смущенно пыхтел. Геннадий с мучительным волнением потирал лоб. Никто

не смотрел на Шумского, никто не спешил ему помочь, и все ждали от него ответа.

«Отпустить парня? Стоит ли с ним возиться? — подумал Шумский. — Все равно ничего не добьемся. — И тут же он рассердился на себя. — Не можешь убедить. Сомневаешься. Твердости не хватает. Забыл ту, прошлогоднюю осень, когда всем курсом послали в колхоз копать картошку?»

Они поехали вместе с преподавателем, копали дотемна, глина налипала до колен, ломило спину, копали, вместо того чтобы заниматься, спали в холодных сараях. Их доцент, автор многих трудов, шел за плугом, дождь стекал по стеклам его роговых очков. Никто не жаловался. Все понимали: надо спасти картошку, эти огромные поля с осклизлыми торчками тины. И еще совсем недавно с какой радостью он читал одно за другим постановления о переменах в сельском хозяйстве! Как же сегодня он забыл об этом? Отпустить Малютина так, просто — значит согласиться с ним, оправдать его.

Почему он, Шумский, ждет чьей-то помощи, чьего-то мнения? Даже в этом маленьком деле. Где уж там отвечать за весь завод, за тысячу комсомольцев, за район, а ведь он член райкома! Кандидат партии. Единственный из всех этих ребят.

...Мысль простая, бесконечно важная и удивительная, как открытие, поразила Шумского: конечно, он, Шумский, и есть частица партии, и он тоже вынес это постановление, это ему надо обеспечить страну хлебом, это он здесь, на заводе, отвечает за все, что происходит в деревне.

И, пересилив свою неприязнь к Малютину, он рассказал, что видел в деревне и как нужна сейчас помощь колхозам.

— Так все же, почему вы отказываетесь? — как можно мягче спросил Шумский.

— Потому, что не хочу. Понятно? Мне и здесь не плохо, — сказал Игорь, вставая.

— Ну что ж, — помедлив, твердо сказал Шумский, — попрошу вас, товарищ Малютин, в понедельник после работы явиться на бюро райкома.

— Можно идти? — Игорь усмехнулся, наблюдая все возрастающую спокойную вежливость Шумского. Он еще надеялся, что его остановят, но все молчали, и он явственно ощутил, что это молчание все более отчуждает его от ребят.

— Пожалуйста, — сказал Шумский.

— Будьте здоровы.

Зачем он произнес эту идиотскую фразу, Игорь не понимал. Последнее, что он увидел, закрывая дверь, — сморщенное, словно от сильной боли, лицо Геннадия.

В комнату заглянула Галя: кого следующего? На нее зашикали: подожди!

— Чего с таким типом возиться? — сказал Вальков. — Проще другого послать.

Рагозин стукнул кулаком по столу.

— Кто тип? Это кто тип? Малютин? Ты на его месте не так бы завертелся. Герой! На чужой шее

в рай ехать... Он ночами занимался, а ты... подметки тер на танцах!

Перед глазами его еще стояло бледное лицо Игоря. Скомканная в кулаке кепка. Аккуратно выглаженные брюки. Он представил себе, как Игорь сейчас бредет домой. Что он скажет Тоне? И как вообще будет с Тоней? Никто не учел этого. Никто здесь не понимал всей сложности положения Игоря. А за что ребят винить? Они привыкли, что на целину отбоя нет от желающих. Первый раз у них такая осечка. Правда, тут не на целину посылаем. Там романтика, внимание всей страны, само слово — целина! — учитывать надо, но ведь на то они и руководители. И еще надо учитывать, что до сих пор уезжали рабочие, а тут техник, итэаровец. И Шумский держался правильно. И все же как-то нехорошо поступили с Игорем. И у самого Геннадия было тяжело и нечисто на душе. Вовсе не из-за их дружбы...

— Таких исключать надо, — сказала Вера. — Для чего нам такие комсомольцы? Для чего?

Возникла ничтожная, но очень четкая недружелюбная пауза. И сразу же, с какой-то сердитой неловкостью каждый заговорил, перебивая другого:

— Ну это ты зря...

— Убедить его надо.

— Вправить ему мозги.

— Передать на райком, — сказал Костя Зайченко. — Шумский правильно предложил.

Его поддержали с облегчением. Словно всем хотелось скорее забыть о Малютине. То ли дело разбирать заявления добровольцев-целинников! Любо-дорого смотреть.

Уже собирались вызывать воспитателей общежития и организаторов самодеятельности, уже Шумский положил личное дело Малютина в папку с надписью «В райком», когда Рагозин вышел из-за стола и заговорил. Он стоял, расставив ноги, чуть покачиваясь на носках; кулаки оттягивали его карманы. Обычно легкий, подвижной, он словно потяжелел.

— Спешите отвязаться, — сказал он. — Спихнуть на райком? Удобно. У ворот опасность, выкидывай в аут. Самим-то наказывать рука не поднимается! И в глаза-то друг другу совестно посмотреть. Что притихли, не знаете, почему совестно? Да потому, что сами-то мы не едем! Ни один из нас заявления не подал. Сам не едешь, а другого наказываешь, тут надо подлецом быть.

— Пожалуйста, — обиженно сказал Ваня Клоков, — нам никто не предлагал. Я думал, в МТС рабочие не нужны.

— То-то и оно, что не нужны. Поэтому Геннадий и красуется! — выкрикнул Вальков.

Возмущенные, они наперебой вызывались ехать куда угодно, кем угодно. Если можно договориться в райкоме заменить механика строителем, то Клоков согласен подать заявление, и с удовольствием, за ним остановки не будет. И не-

зачем срамить организацию перед райкомом такими, как Малютин.

— А знаете, братцы, Рагозин-то прав, — сказал Шумский, прерывая галдеж. — Мы часто здесь всякие высокие требования предъявляем. А сами?.. — Он помолчал и сухо заключил: — Поскольку Малютин отказывается, поедет кто-либо из нас. Завтра после райкома мы это обкатаем.

— Имейте в виду, — сказала Вера, — хотя мы и заменим Малютина, я буду настаивать на его исключении.

— Обязательно тебе крови надо, — сказал Геннадий.

Зайченко поддержал его:

— Поедут другие, сами хотят, чего ж парня мучить?

— Другие тут ни при чем, — сказала Вера. — А насчет крови... — Она пожала плечами. — Мне чистота нужна. Если обнаружилось, что нет у человека чувства долга, то нет у нас права оставлять его в комсомоле. Чем же тогда комсомолец отличается от несоюзного парня? Ты, Геннадий, доказал, что надо начинать с самих себя, вот мы и начали. Но надо тогда и продолжать.

— Выходит, по-моему, что комсомолец — необыкновенный человек? — насмешливо спросил Вальков.

— Да, необыкновенный...

— Ну что ж, — задумчиво сказал Шумский, — может быть, в этом есть правда. Не знаю.

Впервые он несколько не стеснялся своих сомнений.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Стол купили в комиссионном. Стол был дубовый, с двумя тумбочками, напузатых ножках. Вид он имел деловито-добродушный и чем-то напоминал Тоне их соседа по квартире мастера ОТК Трофимова. Гранитоль, наклеенный на столешницу, отливал зеленою клякс, был в двух местах порезан, но это даже придавало столу рабочую уютность, тем более, что, по словам продавца, не будь таких пустячков, цену поставили бы на сотню выше. Продавец поцарапал длинным, желтым ногтем по дереву. «Дуб-то, обратите внимание, старой выделки». Тоня тоже поцарапала ногтем и поняла, что дуб старой выделки и есть то дерево, из которого следует изготавливать мужские письменные столы.

Втаскивать стол помогал Трофимов, и Тоня, с трудом удерживаясь от смеха, подмигивала Игорю: похож, а? Нет, ты скажи, верно, есть что-то общее...

Стол торжественно поставили на уготованное место, в угол, к батарее, так, чтобы свет из окна падал слева. Тоня заставила Трофимова поцарапать дерево и была счастлива, когда Трофимов назвал цену выше настоящей.

— Дореволюционное качество, — сказал Трофимов. — Индивидуальное производство. Наследие прошлого. — Он говорил с шуточной гримаской, и от этого слова его приобретали двойной смысл: понимай как хочешь.

Сидя на корточках, Тоня вытирала ящики. Какие бумаги хранились в них? Кто сидел за этим столом?

Запальчиво поблескивая глазами из-под рассыпанных волос, она заявила, что стол удачливый и, вероятно, волшебный. Он служил молодому ученому, потом молодому поэту, тут были написаны всякие замечательные книги... И когда эти люди становились известными, переезжали в другие квартиры и продавали стол, то на других, самых шикарных столах они уже не могли написать таких хороших стихов, учебников и делать такие изобретения.

Фантазия ее была неистощима. Любая вещь казалась Тоне одушевленной, каждая со своим характером и повадками. Обычно Игорь вышучивал ее выдумки, он называл ее придумщицей и загибщицей. Сегодня он ни разу не остановил Тоню и как-то странно согласно нивал и старательно смеялся, пряча глаза. Она объяснила это тем, что ему совестно за покупку, которая съела все их свободные деньги. Она чувствовала себя доброй и великодушной, и ей еще больше захотелось показать щедрость своей любви и способность на жертвы. Она вытащила из-за шкафа рулон бумаги, купленной для эпюров, не слушая протестов Игоря, застелила стол, и он сразу стал чистеньким, нарядным. Сбоку Тоня положила стопку с книгами, поставила чернильницу. Не хватало только настольной лампы.

Она заставила Игоря принести папку с эскизами, усадила его, заставила открыть папку, разложить бумаги и отошла, любясь издали. Она была счастлива за него, но еще больше за себя, за то, что могла быть такой хорошей, и стала ею, и не требует за это никаких благодарностей.

Стол изменил вторую, пустынную половину, комната стала цельной и показалась Тоне еще больше.

— Послушай, кто живет в этой комнате? — озабоченно спрашивала она Игоря. — Нет, ты посмотри, ты уверен что это наша комната? Вся? Не может быть, ты чего-то путаешь.

Игорь послушно перебирал бумаги, улыбался, и опять Тоне показалось, что он заслоняется от нее своей улыбкой. Она уселась к нему на колени, сцепила руки на шее, заглянула в глаза. Игорь пригнул ее голову, прижал к себе обеими руками, словно заслоняя ее. Пуговица его рубашки больно врезалась в щеку. Какой-то страх почудился Тоне в этом жесте...

Тоня верила в приметы, в предчувствия, она любила рассказывать девчатам свои сны, обсуждать их с Мирой Георгиевной, пожилой бухгал-

тершей из их отдела. Два раза цыганки гадали ей по руке. Было весело и жутковато заглядывать в свою судьбу. В глубине души Тоня, разумеется, никогда всерьез не считалась с предсказаниями, но на всякий случай делала вид, что считается с ними, бессознательно стараясь умиловить судьбу. Применительно же к Игорю всякие приметы казались ей смешными. Игорь был слишком трезв и практичен, чтобы подобные суеверия могли иметь над ним власть. Поэтому она не решилась поделиться мелькнувшим тревожным предчувствием.

Звонок прозвенел требовательно и длинно. Игорь пошел в переднюю. Он открыл дверь и увидел Геню.

— Ага-а! — протянул Игорь, как будто ждал его прихода. — Чего тебе?

Он стиснул ручку полуотворенной двери.

— Не валяй дурака, — сказал Геня и потянул дверь к себе.

Из-под его распахнутого пальто высунулся воротничок синей трикотажной рубашки, такой же, какая была на Игоре (вместе покупали в прошлом году в универмаге).

— Пойдем поговорим, старик. Чего ты пыжишься? — сказал Геннадий тем особым, властно-насмешливым тоном, каким он умел заставить себя слушать. Тон этот означал, что все, что было до сих пор, — чепуха, а вот то, что я тебе скажу, — это будет настоящее, и мы друг друга поймем. И при этом ясные глаза его, конечно, призывали к улыбке. Завидно ловко получалось все у этого парня. Ни тени смущения, никакой целовкости, наоборот: вот сказал он два слова, и получилось, что Игорь какой-то смешной, маленький и нелепый со всеми своими обидами и переживаниями. А он, Геня, — благородный друг. Как же, пришел уговаривать; кепочка на затылке, лоб открыт, рубаха-парень.

Позади, за спиной, Игоря ждал ужас одиночества, невозможность признаться Тоне, страх перед ней, перед завтрашним днем, притворство. А тут перед ним стоял друг давний, привычный, единственный человек, который может помочь: от него исходила такая спасительная уверенность...

Игорь выпустил ручку двери и, умоляюще глядя на Геню, зашептал:

— Что ж это будет, Геня? Ты знаешь, я еще Тоне не сказал.

— Пошли, пошли, — так же тихо и уверенно сказал Геня. — Одевайся, я тебя подожду внизу.

Игорь нахмурился, покачал головой и глубоко вздохнул.

— Как ты мог? — сказал он и стиснул зубы. — Друг сердечный! Я-то надеялся... Агитировать пришел? Катись отсюда... — Он судорожно засмеялся в лицо Геннадию, рванул к себе дверь. Замок щелкнул. Руки Игоря тряслись, он положил их на холодный крюк. Он чувствовал, что Геннадий еще стоит за дверью, — казалось, слышно его

дыхание. Они оба ждали. Игорь тихонько отстранился от двери, посмотрел на сжатые в кулак руки, они еще дрожали. Шорох, удаляющиеся шаги по лестнице. Медленные «тук, тук, тук». Ему казалось, что он все еще слышит эти шаги. Потом он удивленно прислушался: это стучало сердце.

— Что случилось? Почему Геня ушел?

Игорь обернулся. В передней стояла Тоня с полотенцем через плечо.

— Так... Теоретические споры. Поцарапались немного, у нас это бывает... — Он обнял ее, повел в комнату, стараясь говорить быстро, весело и не слишком возбужденно. На лице его не оставалось и следа волнения. Он разыгрывал победителя, довольного исходом недавно еще тяготившей его ссоры. Как ловко он, оказывается, мог притворяться перед Тоней! Она ничего не заподозрила. И как только он убедился в этом, ему стало совсем одиноко.

Со дня свадьбы у Игоря завалилось пол-литра «энзе», неприкосновенный запас. Он пригласил Трофимова с женой, пухленькой, кроткой женщиной, которая восхищалась каждым словом мужа. Ужинали вчетвером на кухне.

— Завидую я вам, — говорил Трофимов, — молодые, везучие! Ты, Игорь, главное, учись. Инженером будешь? А? Поступай в институт, стол у тебя есть. За таким столом вполне можно ученым стать.

— А что вы думаете? — сказала Тоня. — У нас именно такой план.

Игорь пил, не закусывая, но водка почему-то не действовала на него.

— Да, и в институт поступлю! И в аспирантуру! — говорил он, и лицо его принимало ожесточенное, мрачное выражение.

«Мальчишка, — подумала Тоня. — Поссорились с Геннадием, и переживает. Форменные мальчишки».

Теперь, когда она узнала причину плохого настроения Игоря, она была даже немножко разочарована. Довольна и чуть разочарована. Какие все же они мальчишки! Раздеваясь в темноте, она беззвучно смеялась. Наверное, Игорь что-то почувствовал, потому что спросил ее, лежа в кровати:

— Ты что там?

Она подошла, неслышно ступая босыми ногами, легла и прижадась к нему, продолжая улыбаться.

— Ох, как мне надоела эта скрипунья, — смеясь, шепнула она. — У нас будет широкая, широкая тахта. И совсем тихая. Как это могут муж и жена спать отдельно! Разве тебе хотелось бы спать отдельно?

— Нет.

— Это же такое удовольствие, просто лежать вместе... Я, наверное, говорю глупости. Ты считаешь меня очень глупой?

— Нет.
— Нет, я глупая. Мне иногда хочется спросить тебя про всякие вещи, только это стыдно.
— Какие?
— Если бы ты... ну, понимаешь, с другой, ты бы ей тоже говорил такие слова?
— Дуреха!
— Скажи мне, как ты меня любишь?
— Ты же знаешь.
— Ну, почему ты не хочешь?
— Я тебе тысячу раз говорил.
— Ну, все равно.
— Лучше я тебя обниму.
— Хватит! У меня синяки будут, — сказала она жалобно и вместе с тем счастливо. — Игорюшка, а почему после этого говорят шепотом?
— Не знаю.
— Мне иногда делается страшно. А вдруг все это кончится? Или что все это нарочно?
— Почему?
— Какая-нибудь чепуха — и все разобьется.
— Какая чепуха?
— Ну, мало ли, не приставай... Тебе, наверное, дадут премию, когда ты кончишь свой станок... Как это Трофимов сказал? Да, везучка. Ты везучка. Мне так хочется обставить комнату и купить... Нам столько нужно. Я боюсь. Наверное, это все же мещанство.
Молчание.
— Ты не слушаешь?
— Да, да, — отозвался он.
— Ну ладно, спи... Играха, ты меня не разлюбишь?
— Нет.
— Что бы с тобой ни случилось?
— Нет. — Он помолчал. — А ты?
Она обняла его, поцеловала в затылок.
— Если у нас будет ребенок, я выпишу маму. Она поможет. Я смогу тогда без перерыва обойтись. Еще три года учиться. Ох, ужас как долго! Она замолчала, услышав мерное дыхание Игоря. Вдохнув, она поудобнее приткнулась щекой к его плечу, вдыхая теплый запах его тела, чувствуя кожей движение волос на его щеке. Сейчас, спящий, он представлялся ей беспомощным и маленьким, как ребенок, будто он лежал у нее на руках, и она укачивала его. Беспочинная нежность волной набежала на нее. Недавние тревоги показались пустыми; она была даже рада, что Игорь скрывает от нее что-то, связанное с ссорой с Геннадием. Это как-то оправдывало то, что она умолчала о встрече с Ипполитовым. Собственно, рассказывать было нечего. Впервые после ее свадьбы он сегодня подошел и заговорил, сперва о делах, потом справился, как идут ее занятия, и предложил помочь, если надо, с курсовым проектом. Разговор был обычный, главное заключалось в том, как грустно и преданно Ипполитов смотрел на нее, и то, что ей было это приятно. И это тоже усиливало то состояние счастья, в котором она

жила. Уже засыпая, она удивилась тому, как чудно устроена жизнь: из всех людей, из тысячи тысяч она нашла именно Игоря, того самого, единственного, нужного ей... Теперь-то она убедилась, что Игорь и есть единственный человек на земле, но тогда-то она ничего не знала...
...Тоня заснула, и он остался один в черной тишине. Весь вечер он ждал этого часа. Ждал, когда она говорила, когда, сомкнув веки, чувствовал, что Тоня смотрит на него. Тонкая перегородка разделяла их, словно притворенные двери, когда он разговаривал с Геннадием. Сперва ушел Геннадий. Теперь ушла она.
Если у Лосева не получится, что тогда? Как вести себя завтра в райкоме? Нет, Лосев поможет, неужели Лосева могут не послушать?
Мысли его в страхе разбегались, и перед ним снова возникало кошачье-круглое лицо Лосева, изменчивое, с неуловимо скользящей улыбкой, в которой не было ничего определенного. Она то появлялась на сочных, влажных губах, то таяла, стекая куда-то в глубину круглых, маленьких зрачков, в складки мягкой розовой кожи. При воспоминании о разговоре с Лосевым Игорь передернуло от отвращения к самому себе. Незадолго перед этим он схлестнулся с Лосевым, а через час прибежал к нему просить заступиться. Он слышал свой заискивающий голос, видел себя потного, с по-собачьи вытянутой шеей, с мокрыми ногами, от которых на полу кабинета натекла лужница, и он все время старался незаметно растереть ее подошвами. Зачем же это все? И почему на него это все свалилось? Кому он мешал? Кому мешало его счастье? Ведь ему ничего ни от кого не нужно. Почему он должен? Кому он должен? Что значит должен? Почему он не имеет права жить как хочет? Закончить свой автомат для «Ропага». Довести до рабочих чертежей. Собрать, Установить. Отладить. Самая вкусная, приятная работа. Какой станок получится! Сказка! Поставил заготовку, сунул карточку, зажужжат, защелкают реле, и вся эта механика начнет действовать как живая, самостоятельно, по программе. Станок сам и обточит по-нужному профиль совсеми переходами и выдержит нужные размеры. Сиди и покуривай. Техника коммунизма. А чертежи! Новенькие, сиреневые светокопии, где у каждой детали уже установлены все размеры и материал... Не может он сейчас уехать, бросив все, не сделав свой автомат. Если бы не Лосев, он сказал бы об этом на комитете. Но он боялся Лосева. Узнает Лосев, что Игорь помогает Сизовой модернизировать «Ропаг», не заступится. Да и неизвестно, как на комитете могло повернуться. Изобрел, скажут ребята, вот и хорошо, без тебя доведут, так сказать, в общем комплексе, а сам езжай. И тогда что?
Во всем, что угрожало ему, он видел несправедливость и бесчеловечность. Несправедливым это было потому, что исходило, как он был уве-

рен, от Сизовой, мстившей ему, и поэтому все остальные красивые слова были ложью. А бесчеловечным это было потому, что он счастлив... Кто дал им право распоряжаться его счастьем?
У него не было ответа на эти вопросы, за ними стояло что-то такое большое и важное, о чем он никогда не думал. Что-то, напоминающее тот безмолвный требовательный вопрос, который он прочел при встрече в глазах дяди. Но он не желал думать ни о каких вопросах...
Он чувствовал на своей спине горячее дыхание Тони, ногами чувствовал ее колени, гладкую, прохладную кожу ее ног, и в ответ на все вопросы он ожесточенно уверял себя: что бы ни случилось, он этого не отдаст, пусть с ним делают что угодно...
Он давно уже уснул, но ему казалось, что он не спит и все пытается думать и не может.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Разговор с Малютиным позабавил Лосева. Как-нибудь два часа назад этот же Малютин, прищурив глаза, дерзил ему, мнил себя героем. Куда все подевалось! Не узнать парня. Только кепочка на нем та же, а под кепкой страх и конфуз. Поди, язык готов себе откусить за давешний разговор. Лосеву ничего не стоило на всю жизнь проучить этого щенка. «Зря вы ко мне обращаетесь, дорогой Игорь Савельич, я коммунист и обязан проводить в жизнь партийные решения. Не понимаю вашего заявления, ведь вам оказали почетное доверие...»
Ничего подобного Лосев не сказал. И это тоже доставило ему удовольствие. Он умел ставить интересы отдела выше личных обид. Положив руку на плечо Малютину, он обещал сделать все возможное. Пообещав, Лосев прикинул, — почему бы и в самом деле не помочь парню. Еще на производственном совещании он оценил молчание Малютина и замолвил за него словечко при распределении комнат. Судя по всему, Малютин принадлежал к людям, на которых можно положиться. Таких людей Лосев поддерживал. Решая помочь Малютину, он, разумеется, не думал, что помогает ему из этих соображений. После того как Лосев решил, ему стало искренне жаль Малютину, он живо представил себе все надежды этого паренька, так удачно начавшего свой путь, и когда ему стало жаль его, он подумал, что поможет именно из-за того, что ему жаль Малютину.
Малютин ушел. На полу осталось пятно талого снега. Лосев усмехнулся: судьба играет человеком, а человек играет на трубе. Второй раз в течение дня вспомнилась ему эта глупая прибаутка.
Впервые она пришла в голову, когда он встретил Логинова. Он завидел его издали, у ворот механического. Мимо огромных железных ворот и

вдоль темно-бурых стен цеха шли люди, ехали машины, стрекотал тягач, но Лосев видел одного Логинова. Можно было свернуть в сторону, и он хотел свернуть, но не свернул. Лосев решил было кивнуть с озабоченным видом и пройти мимо. Вместо этого он поздоровался и спросил:
— Как осваиваете новое место?
Тон был покровительственный, но, во всяком случае, дружески-уважительный, без фамильярного сочувствия или жалости.
— Место не совсем новое, — неохотно сказал Логинов. — Я ведь начинал отсюда.
— Следовательно, путь освоенный, — улыбнулся Лосев той легкой, ободряющей улыбкой, которая рассчитана на ответную.
На высохшем лице Логинова ничего не изменилось, затененные седеющими бровями глаза его не мигая смотрели на Лосева. Маленькие толстые уши Лосева покраснели, он улыбнулся шире.
— Второй раз этот путь пройти легче.
Тут скрывался и вопрос, собирается ли и впрямь Логинов добиваться восстановления в должности директора, и намек, грубый, почти угрожающий.
Возникла пауза. С каждым мгновением она становилась все гуще, напряженной. Молчание каждого было — как черное дуло, наставленное на другого. Первым не выдержал Лосев: он шумно вздохнул, застылая его улыбка скрылась в морщинках узкого, заросшего волосами лба.
— После долгого перерыва многое, наверное, кажется вам непонятным? — спросил он снисходительно.
— Нет, почему же? — не сводя с него глаз, сказал Логинов. — Многое понятно.
Лосев успел отвернуться, чтобы не показать, что он, Лосев, понял Логинова.
Собрав морщины на лбу, Лосев оглядывал заводскую территорию. Пыхтел паровозик, толкая платформу с краном; связист, брэнча железными скобами, поднимался на телефонный столб; с залива дул резкий ветер; воробьи зябко хоронились за штабелями чугуновых отливок. Если бы Лосев захотел, он мог бы сейчас остановить кран: ему подчинялось крановое хозяйство; мог дать приказание связисту, мог распорядиться убрать отливки, на каждом шагу его глаза находили подвластное главному механику завода, зависимое от главного механика. Перед ним заискивали начальники цехов; он умел, когда надо, подчинить себе и главного инженера... Его боялись. На заводе говорили: «Лучше с Лосевым не связываться»; он знал свою силу, и от этого слабость, которую он сейчас испытывал, казалась ему непонятной и тревожной.
Перед ним стоял сутулый, невзрачный мастер механического цеха Логинов. Мастер, каких на заводе было десятки, совсем непохожий на прежнего директора завода Логинова. Сизые от мороза руки его висели вдоль тела. Полы длинного,

мешковатого пальто бились в ногах. Он стоял неподвижно, без всякой неловкости, и Лосев, не глядя, боковым зрением, чувствовал на себе его упорный, холодный взгляд. Лосеву нужно было, чтобы Логинов улыбнулся, произнес что-нибудь дружеское, хотя бы безразличное, но Логинов молчал. Собственная безответная, искательная улыбка напугала Лосева. Он понял, что боится Логинова. Страшен не сам страх, а то, что человек сознает власть этого страха. Он никак не мог стать «самим собой, главным механиком завода, авторитетным, удачливым руководителем, и даже просто Лосевым, крепким, здоровым человеком, который ростом выше Логинова на полголовы, человеком, который носит теплую пыжиковую шапку, а не засаленную кепку, добротную мохнатую куртку, желтые туфли на толстых каучуковых подошвах...

Он не знал, куда девать свои руки в кожаных, на меху, рукавицах, как будто перед ним стоял не мастер, каких десятки на заводе, а человек, знающий о нем все, что Лосев хотел скрыть.

К ним подошел Рагозин. Он искал Малютину. Отвечая ему, Лосев слушал свой крепнувший голос. Логинов намеревался уйти, но Лосев остановил его.

— На вашем участке, Леонид Прокофьевич, заваляли деталями новые станины. Попрошу сегодня к вечеру навести порядочек. — Никакого раздражения, холодно и вежливо. — У нас сейчас требования к культуре производства не те что раньше.

Логинов молчал.

— Так я вас попрошу, — строже сказал Лосев.

— Ясно, — ответил Логинов с тонкой насмешливостью человека, который не только понимает, зачем все это говорится, но также понимает, что означает это понимание для собеседника.

Со дня возвращения Логинова на завод тоскливое предчувствие охватило Лосева. Как будто с приходом Логинова отступало в прошлое все то, что выдвинуло Лосева, защищало его, поддерживало, как будто оказалось ошибкой не только осуждение Логинова, но и быстрая, блистательная карьера Лосева.

После работы Лосев зашел в партком.

Секретарь парткома Юрьев, избранный недавно, производил впечатление человека добродушного и смешливого. Он состоял и в прежнем составе парткома и держался там незаметно, устало подремывая во время заседаний где-нибудь в уголке. Выступать он не любил. Выходя на трибуну, задышался от волнения; доброе лицо багровело; каждую фразу он начинал со слов «скажем — допустим» и конфузливо шмыгал коротким носом. На выборах Лосев поддержал его кандидатуру, считая простаком, которым можно будет вертеть как угодно, хотя, по всем данным,

Юрьев был человеком, достаточно обмятым жизнью. Дважды он был на войне, в финской отморозил руку, в Отечественную ему изуродовали грудную клетку. В тридцать лет он поступил в заочный институт, и каждый год его срывали с учебы: то пошлют на монтаж станков на Урал, то на инструкторскую работу в райком. После войны Юрьева мобилизовали на восстановление разрушенных заводов Прибалтики, потом послали в Болгарию. Всякий раз он возвращался на завод, снова поступал в заочный институт и начинал учиться. Пятнадцать лет понадобилось ему, чтобы закончить институт. Он посмеивался над собой и никогда не жаловался.

После перевыборов Юрьев с виду ничем не переменялся, и казалось, и в образе жизни его ничто не изменилось. В кабинете парткома он бывал редко. Все в той же полинялой спецовке, тучный, задыхающийся, он днями пропадал в цехах. Постороннему человеку могло показаться, что новому секретарю нечего делать. Юрьев бродил по заводу неторопливо, как на прогулке, к нему тянуло подойти поболтать, к нему обращались на каждом шагу. Никто, разговаривая с ним, не чувствовал, что Юрьеву некогда, что его где-то ждут, что у него есть другие дела. По вечерам он ходил в гости; при всей своей деликатности в гости он напрашивался почти беззастенчиво, особенно к людям, которые его почему-либо интересовали. В гостях никаких служебных разговоров Юрьев не признавал, он рассказывал всякие смешные истории, — а знал он их великое множество, — пел шуточные частушки, и приглашали его охотно. А в последнее время даже отбоя не было от приглашений. Многих из членов парткома он приохотил ходить по домам. Кое-кто считал, что партком стал работать хуже, заседаний стало меньше, а те заседания, которые были, заканчивались слишком быстро. Оказывалось, что обо всех спорных делах каждый из членов парткома накануне говорил с Юрьевым. Но в самом парткоме стало куда многолюдней, деловитей и веселее.

Когда Лосев зашел в кабинет, Юрьев сидел боком на краю стола, болтал короткой и крепкой ногой. Вокруг него толпились строители в закапанных мелом спецовках; еще не утихший смех бродил по их лицам.

— ...А бывает, что заест начисто человек всю свою жизнь и так до самой пенсии не выявит свое назначение, — говорил Юрьев, продолжая улыбаться, — так что вы очень чутко подходите. Может, кто помнит, работал у нас в отделе труда Дровняков, заместитель начальника.

— Это которого Бревняковым звали? — подсказал кто-то.

— Он, он, его еще и Вредняковым звали. Людей не любил, дремучий такой чинуша, желчный человечек. И вот случись же с ним такое. Однажды забыл кто-то у него на столе образчик глины. Взял он, значит, эту глину и, обдумывая очеред-

ную свою бумажку, в такой рассеянности вылепил фигурку. Хотел смять да в корзину бросить, как тут кто-то из сотрудников скажи, что фигура симпатичная, отобрали у него, и девушки поставили к себе. Потом кто-то из них принес Дровнякову пластилин и попросил для смеха еще одну такую вылепить. Он вылепил и сам удивился, перепугался даже. А из остатка сделал портрет своего начальника, да еще в карикатурном виде. Тут уж не до смеха, когда такое из-под рук выходит. Он и в мыслях себе критики не позволял. Пальцы лепят, а сам ужасается. В полную растерянность впал человек. Но остановиться уже не может; побежал, сам купил пластилину — и пошел и пошел. Сейчас он в мастерской у одного известного скульптора работает. Вполне передовой художник из него получается. А не случись с ним такого, остался бы бюрократом, и мучились бы мы с ним до сегодняшнего дня, — заключил под общий смех Юрьев.

«Черт знает что! — подумал Лосев, смеясь вместе со всеми. — Развел какую-то комедию».

— Нет, нет, — сказал молодой крановщик, — есть совсем бездарные личности, начисто бездарные.

Юрьев покачал головой:

— Нет таких. Каждому свое место можно найти.

— Место! Если бы на это место билет при рождении давался, — заметил крановщик.

Лосев подошел к столу и, строго взглянув на рабочего, сказал:

— Если каждый будет подыскивать для другого место или заниматься проверкой, то работать некому будет! — и укоризненно покачал головой.

Крановщик крикнул и резко сказал:

— Вы же не знаете, о чем мы...

— Ничего, ничего... — пробормотал Юрьев, но разговор разладился, и то веселое оживление, каким были полны люди, погасло. Юрьев слез со стола, сел в кресло. Вскоре все разошлись, оставив Лосева наедине с Юрьевым.

— Не понимают люди, — сказал Лосев. — Это в комсомольском комитете еще туда-сюда. А в парткоме так несерьезно вести себя! — И он неодобрительно покачал головой.

Юрьев провел рукой по лбу, словно отгоняя худые мысли.

— Партийная работа — дело серьезное, но жизнеутраченное... Шутка делу не помеха.

Видно было, что ему не хотелось спорить с Лосевым, он как-то конфузливо и ловко уклонялся от спора, который, вероятно, казался ему бесполезным. Доброе, рыхлое лицо его погрузнело. Он положил большие руки на колени и сидел выпрямившись, как сидят перед фотографом.

Лосев просил оставить Малютину на заводе.

Отказывать в чем-нибудь людям Юрьев не умел, и самое трудное в его работе здесь, в парткоме, была борьба с собственной добротой. За-

стенчиво посапывая коротким носом, зажатым между рыхлыми щеками, он добросовестно перепроверял доводы Лосева. Незаметно они превратились у него в нечто настолько несущественное, что он сам удивился и развел руками. И, словно не желая ставить Лосева в неудобное положение, Юрьев признал, что не настаивает на Малютине, но ведь кого-то комсомольцы обязаны послать.

— Вот как его жена к этому отнесется? Вот это серьезно, — размышлял вслух Юрьев.

Лосев знал, что Малютин недавно женился, и даже видел однажды его жену. Поэтому он сказал:

— Да, насчет молодой жены они, черти, не подумали, не посоветовались со мной. Формалисты. Жалко, жалко мне парня, — с чувством сказал он. — Я ему с комнатой помог, и вообще... — Он махнул рукой: разве, мол, все расскажешь!

— Я ее плохо знаю, — раздумчиво сказал Юрьев. — Кажется, девушка симпатичная, восторженная.

— Правильней им было бы выдвинуть из состава комитета, — строго сказал Лосев. — Собственным примером, так сказать... Кто у них там? Да хотя бы Сизову Веру Николаевну. Грамотный инженер, одинокая, энергичная.

Юрьев опустил глаза.

— Можно и Сизову, — вяло согласился он. — Только не понимаю, почему Сизову лучше, чем Малютину... Все можно, можно и нас с тобой послать...

— Пошлют! — и поедет, — весело и нагло подмигнул Лосев. — А пока что за план требуют с кого, с Шумского? Нет, с нас требуют. Все же принцип единоначалия вышестоящие органы не зря подчеркивают...

— А если бы мне лично предложили поехать... — начал Юрьев, подняв брови, собираясь сказать что-то смешное, но ничего смешного не сказал. — Да, принцип единоначалия — это правильно, — пробормотал он.

На деликатных людей наглость действует обезоруживающе. Лосев это знал и, не стеснясь, нажимал на Юрьева, расписывая трудности своей работы, жалуясь на нехватку кадров. Намекнул на то, что Малютин племянник Логинова, и следуют к такому человеку, как Логинов, проявить чуткость. На это Юрьев тяжело вздохнул и как-то смущенно заморгал, но смолчал. Для Лосева дело заключалось уже не столько в Малютине, сколько в той неожиданной твердости, «косточке», которую он почувствовал за внешней мягкостью Юрьева.

«Так и зубы обломать недолго», — встревоженно подумал он, понимая, что придется отступить, и сделать это надо расчетливо, не в качестве побежденного, а обиженного, так, чтобы впоследствии можно было сослаться: «Помните, я предупреждал, когда посылали Малютину!» У Лосева было правило: для того чтобы иметь достижения,

надо показывать свои трудности. С этой стороны разговор с Юрьевым хотя и не принес результата, но был небесполезен.

Лосев уже собрался уходить, когда Юрьев остановил его.

— Кстати, насчет Сизовой. Зря ты зажимаешь ее предложение.

Он сказал это, прощаясь, как бы между прочим, и Лосев безмятежно усмехнулся: «Какая ерунда». Но ощущение было такое, будто он наткнулся на стальное острие. За тучным добродушием Юрьева обнаружился вдруг металлический каркас, опасная и умная сила. И, только выйдя на улицу, Лосев понял, как он влип. Раскрылся, раскололи, как орешек. Попался в ловушку с этой проклятой Сизовой. Не как-нибудь, а «зажимаешь». Вот тебе, бабушка, и Юрьев денег! Юрьев-то, оказывается, все вызнал. А может быть, Сизова успела нажаловаться ему? Вряд ли. Сизова не из тех, кто, чуть что, бежит в партком. Не тот характер. Это сам Юрьев. Кто знает, что еще ему известно? События дня слились в одно чувство непрочности, томительности, шаткости благополучия, казалось, такого незыблемого.

Это была всего лишь минутная слабость. Немедленно, как после грозового удара, заработали приборы защиты, приспособленные, натренированные регуляторы мозга, взвешивая, оценивая, придумывая новые комбинации, новую тактику, взбадривая силы рассудка... Нет, виновата только Сизова. Она постаралась изъять Малютину как союзника Лосева. Теперь она копает под самого Лосева. Простодушный чудака, он полагал, что имеет дело с благородным человеком. Ну, хорошо же! Будем действовать иначе. В конце концов объявлен шах, не больше. Надо играть умнее, и только. Постепенно все приходило в порядок. Но чувство доселе непривычного страха уже поселилось в душе Лосева. Страх был маленький, почти неощутимый, но он был.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Молодость каждого поколения знала свои призывы. Сколько их насчитывает история комсомола! На борьбу с бандитизмом, в Чека, в торговлю, в авиацию, на Дальний Восток, во льды, туда, где ждало больше невзгод, туда, где было трудней, где обещали тяжкую работу, — туда комсомол посылал своих лучших. Это стало его привилегией.

В необъятных отцовских галифе, в косоворотках, громыхая фанерными чемоданами, поднимались по старой мраморной лестнице райкома за путевками на строительство Днепрогэса, на монтаж Сталинградского тракторного, Хибинского апатитового. Проходил год-другой, и в этих же четырех тесных комнатках второго этажа шумели уже другие ребята, требуя отправить их на флот,

а их уговаривали идти на рабфак. И они, чертыхаясь, брали отстуканные на гремучем «Ундервуде» направления и шли. Они становились докторами наук, мастерами, адмиралами, художниками, великими летчиками, теми, кто нес на себе сегодня главную службу страны.

Отсюда, с этого подъезда, украшенного граненым петербургским фонарем, начались тысячи давних и новых дорог молодости, многие из которых были оборваны кулацкими пулями и финскими снайперами.

В июне 1941 года здесь чуть ли не дрались за право уйти на фронт добровольцами дивизии народного ополчения. С этой дивизией ушли почти все члены райкома во главе со своими секретарями Жорой Шестаковым и Ваней Соколовским. В обмотках, сунув в карманы по противотанковой бутылке, с одной осоавиахимовской винтовкой на двоих, шли они от райкома по главному проспекту района, вдыхая прощальную горечь мартенов Октябрьского и дымы Комбината и верфи, мимо сквера, где весной всем районом сажали липы, вдоль заваленной мусором набережной канала, которую так и не успели очистить в субботник.

Соколовский погиб, Шестаков остался служить в армии. Никто не вернулся в райком, никто не возвращается в юность.

В дни блокады весь райком помещался в кабинете секретаря. Там жили три девушки, дымилась железная печурка, стояли три кровати и три письменных стола. Члены бюро сидели на кроватях, поближе к печке. Отсюда уходили девочки — бойцы бытовых отрядов, уходили в ледяные улицы спасать погибающих от голода людей. Сюда возвращались они окоченелые, измученные, пили хвойный кипятик, макали в жестяные кружки дуранду и медленно жевали ее расшатанными зубами. И вечерами тихо цели «Тучи над городом встали...»

Сюда принесли Лиду Ильенкову, раненую в живот на площади у райкома. Здесь она и умерла. На этот стол выкладывали первые образцы самодельных мин и автоматов. На том же «Ундервуде» при свете копилки печатали инструкции о тушении зажигательных бомб. Дежурили на крышах. Сажали в садах картошку. Ломали деревянные дома. Совсем еще девочки и мальчики, со старческими морщинами на опухших лицах...

А позже, когда с окон смыли бумажные кресты, когда вместо ватников на вешалке висели шинели с отпоротыми погонами и полученные по ордерам пальто, когда члены райкома белили закопченные потолки и в секторе учета расставляли поредевшие карточки, тысячи слабых, еще прозрачно-голубоватых рук принялись расчищать завалы и восстанавливать район.

Чем требовательней кричали паровозы, подводящие пустые теплушки к щербатым от осколков перронам, тем быстрее росли комсомольские организации района.

Каждая юность принадлежала своей пятилетке, и каждая пятилетка требовала новых эшелонов. И вот они снова отъезжают от ленинградских вокзалов, со своими новыми песнями, на юг, на север, на Каховку, на Куйбышевскую.

До свиданья, мама, не горюй, не грусти,
Пожелай нам доброго пути.

И матери долго смотрят вслед тающему дымку, вспоминая свою юность, свою первую комсомольскую пятилетку, рейды «легкой кавалерии», сырые корпуса новых цехов, которые теперь кажутся такими темными и тесными...

Ты нужен! Для молодости нет более манящих слов. Ты нужен осваивать Арктику, ты нужен на лесоразработки, ты нужен в тундру, в тайгу, тебя пошлют на край света, ты увидишь метели, голую землю, отсыревшую палатку, ржавую воду, вечную мерзлоту, испытаешь разлуку, тоску по родным, и гордость, и счастье идущего впереди.

В тот день, когда где-то зажигают новую домну, везут на элеватор зерно, разрезают ленточку у входа в машинный зал гидростанции, может быть, кто-то вспоминает о тебе, наш райком!

Тебе не очень-то легко было отдавать своих лучших ребят, у тебя самого дел неуворот, ты собирался строить стадион и пионерские площадки и организовывать бригады по качеству... Но больше всего ты дорожил этим словом — «Надо!»

Никто никогда не занимался твоей историей. В твоих стенах никто не помнит, кто были твои секретари двадцать — тридцать, даже десять лет назад. Какие споры кипели здесь... У тебя нет старожил, ты провожаешь в зрелость, и новые парни и девчата принимают дела и начинают составлять новые планы. Ты никогда не стареешь. Ты все такой же. Те же молодые, возбужденные лица и отчаянные диспуты о любви и браке, дымные, утомительные заседания, и та же неистощимая выдумка, начало всех районных затей: походов, месячников, карнавалов, фестивалей. Чуть выгнулись стертые тысячами ног мраморные ступени старого особняка; вместо ручного телефона, одного на весь райком, в каждой комнате вертушка с никелированными дисками. А зная то же, немного обтрепалась бахрома, выгорел шелк, зато вместо двух орденов в углу, у древка, теперь четыре. И тот же бюст Ленина на кумачовой подставке, и на столе секретаря тот же бронзовый прибор с пушкой...

Но те, кто заседал здесь в снежные дни 1954 года, были уверены, что ничего подобного райком еще не переживал. Может быть они были правы.

С утра у дверей отборочной комиссии выстраивалась очередь. Бурливый змеевик ее заполнял приемную, вылезал в коридор, устранился вдоль стен, на подоконниках, а к середине дня хвост уже вился на лестничной площадке. Комиссия

заседала ежедневно, до позднего вечера, и очередь не уменьшалась. Подходили все новые и новые желающие, шли помимо местных комитетов, никем не рекомендованные, шли самотеком, шли взрослые, пожилые, смущенные своей солидностью, робая среди тонкоголового гама. Райком захлебывался под напором нетерпеливого человеческого прилива. Получившие отказ грозились, уезжали в обком. Там они бродили толпами по кабинетам, где составляли графики отправки эшелонов, где на столах лежали пачки красных комсомольских путевок, — там они жаловались, требовали, упрасивали. Замученные обкомовцы, глядя на них стеклянными глазами, сипло кричали в телефоны: «Какая еще банкаброшница? Зачем туда банкаброшница? Все хотят! И парикмахеров не надо! Уже пятьдесят парикмахеров есть!»

Вокруг уполномоченных, приехавших из Казахстана и с Алтая, клубилась плотная, неубывающая толпа. Где лучше охотиться? Как с водой? Брать ли одеяла? А лыжи? А сетки от комаров? Сколько километров от железной дороги?

Растревоженный, взбешенный предотъездной горячкой, город собирал счастливицев в дорогу: готовили подарки, носились по магазинам, покупая рюкзаки, валенки, лыжные штаны. Из каждого самого маленького учреждения кто-нибудь да уезжал. Некоторые оборотистые директора норовили в этой горячке «списать на целину» всяких лодырей. Нескольких мальчишек сняли с поездов. Они бежали на целину так же, как двенадцать лет назад бежали на фронт, а до этого — в Испанию, помочь республиканцам.

Едва переступив порог райкома, Игорь окунулся в этот обжигающе-кипящий поток энтузиазма, желаний, страстей, мечтаний. И оттого что все это не имело прямого отношения к нему, к тому, что ожидало его, оттого что ему предстояло пройти не туда, куда выстроилась длинная очередь и где заседала отборочная комиссия по отправлению на целину, а совсем в другие двери, за которыми шло бюро райкома, он почувствовал свое одиночество и зависть к неизведанному, увлекательному, что, несомненно, ждало этих ребят.

С утра, с того момента, когда Игорь узнал от Лосева результаты переговоров в парткоме, он находился в состоянии томящего возбуждения, растущего с каждым часом. Нет ничего хуже ожидания, когда день растягивается нескончаемо, когда изнываешь от неизвестности, пытаешься угадать, как поведет себя Шумский, как следует держаться и не нужно ли сейчас позвать Тоню, рассказать ей обо всем и явиться на райком вместе с нею... Из комсомола его, конечно, не исключат, в крайнем случае запишут выговор. Лосев — мудрый человек; важно протянуть время, пока выполнят разнарядку, потом все остынет, а сейчас обстановка раскаленная и можно погореть, сейчас надо тянуть и тянуть, попросить еще время поду-

мать... Правда, ничего такого Лосев не советовал, но Игорь отлично уловил все, что стояло за его сочувственными словами.

Это было утром. Днем он решил: играть в жмурки бесполезно и нужно активно отбиваться. Он пробовал предугадать самые трудные вопросы, искал на них ответы и, найдя удачный, успокаивался. Так мысленно он расправился с Шумским, склонил всех на свою сторону, произнес речь, от которой у него самого повлажнели глаза. Но чем явственней он видел себя победителем, тем с большей тревогой смотрел на часы.

Это было днем. К приходу в райком он мечтал об одном: чтобы все скорее кончилось. Все равно как — лишь бы скорее. Не стоит ничего оттягивать, больше ждать он не в состоянии, все должно кончиться сегодня. «Ну, дадут выговор, ну, исключат, от этого не умирают», — уговаривал он себя. Но тот, кого он уговаривал, соглашаясь на самое худшее, продолжал волноваться: сказать или не сказать о своем автомате?

Игорь бочком протиснулся в приемную райкома. На стене висела карта Казахстана в салых пятнах, потертая, расцарапанная карандашами, ногтями. Несколько человек одновременно водили по ней пальцами, отыскивая какие-то пункты.

Из комнаты отборочной комиссии вышли две девушки в бобриковых детдомовских пальто, туго перетянутых широкими кушаками. Одна была бледная, у другой лицо, шея горели красными пятнами. Они просились заправщиками, им отказали; они недавно кончили школу птицеводов и, следовательно, должны работать по специальности.

— Ну и поехали бы птицеводами, — сказал кто-то.

— Какая там птица! Дикие утки, — вскинулась бледная девушка.

— И вальдшнепы, — глотая слезы, добавила вторая.

— Эх вы; цыпы-дрыпы, дикие утки, — засмеялся рядом с Игорем вислоносый мужчина. — Схитрить надо было.

Маленькая, пышногрудая девушка озабоченно смотрелась в круглое зеркальце; намотав платок на палец, она стерла сперва губную помаду, потом подумала и стерла краску с бровей.

— Знаешь, часто судят по внешности, — оправдываясь, игриво улыбнулась она Игорю. — А я все могу. Я дорожницей работала. Булыгу укладывала.

— На трактористов норма заполнена, — поступали тревожные сведения, — остались шоферы и строители.

Чубатый паренек в бушлате сообщил с угрозой:

— Отклонили за привод... Ну, ладно же.

— Хулиганов туда не нужно... Милиции там на вас нет, — сказала маленькая девушка.

— Обязательно хулиган? А если я хочу по-новому начать... А меня обратно толкают. Тогда как?

— Зря его обидели, — тихо сказал Игорю молодой человек в очках, с усталыми, запавшими глазами. — Напьется он — и войдет в штопор. Для некоторых это же не только целина. Есть возможность жизнь свою выправить, приобщиться...

— А, бросьте вы! — Вислоносый мужчина махнул рукой. — Прижали голубчика, вот он и завертелся, ищет где повольтангует. Кто поедет от хорошей жизни? От добра добра не ищут. Возьмите меня, к примеру. Будь у меня жилплощадь, разве бы я рыпался? Ни в коем разе. Как сказал деревенский реалист: нужда и голод правят миром! — Он засмеялся, сдвинул набок порыжелую железнодорожную фуражку. — Ось вращения человеческой натуры.

— Вы отрицаете сознательность? — горячо спросил молодой человек. — Желание помочь...

— Как я могу отрицать, — хитро посмеиваясь, перебил его вислоносый, — я ведь человек несознательный. Понимаете? Вы все понимаете! Только слова ваши — иллюминация, чтобы ехать было веселее. Хотите, каждому вскрытие сделаем? У всякой рыбки своя наживка заглотана. Одна на муху клюнула, другая — на червяка. Понятно? Вы все понимаете, молодой человек. — И вислоносый заговорщицки подмигнул.

Молодой человек в очках работал инженером-проектировщиком, имел две комнаты. Оклад полторы тысячи. Никаких неприятностей по работе. И теща симпатичная.

— Что же вас все-таки тянет? — насмешливо спросил железнодорожник.

Молодой человек вяло пожал плечами.

— Не знаю... Сижу с утра до вечера за своей доской. А я с детства землю люблю. Я же крестьянский сын. А вы знаете, какая земля в степи? А сама степь! — Он оживился, вытащил затрепанную книжку. — Вчера всю ночь читал... Вот, например: «Густой, пряный аромат, напоминающий запах мяты, зависит от эфирных масел, выделяемых степными губоцветными растениями. Если в жаркий, безветренный день поднести к высокому травянистому растению ясенцу зажженную спичку, воздух вокруг ясенца вспыхнет ярким пламенем».

— Ага! — торжествуя, воскликнул железнодорожник. — Вам не нравится ваша работа. Вот что! А если бы вы были не деревенский, а городской? А? Сын рабочего?

Инженер нахмурился, покосился на вислоносого железнодорожника и ничего не ответил. Тоненькая, некрасивая девушка, закутанная в платок, насмешливо фыркнула.

— Не согласны? — обратился к ней Игорь. — Вот вы, почему вы едете?

— Я? — Она изумленно округлила синие глаза и, неловко поеживаясь сказала: — Так ведь надо же. Кто же за нас поедет?

Девушка ушла на комиссию. Вислоносый убежденно сказал:

— Женихов ищет. Такие цапли за женихами едут, — и засмеялся, подмигнув Игорю кофейным, сморщенным веком.

Инженер вытянул длинную, худую шею и сказал, заикаясь:

— Как-как вам не-ст-т-тыдно!

Он отошел к печке, закурил, пуская дым в приоткрытую вьюшку. Игорь пошел за ним.

— Удивительно устроен г-глаз у некоторых личностей, — сказал инженер. — Есть голубая оптика, а тут черная оптика. Одно плохое видит. Я вот говорил вам, что мне скучно стало, то да се. А это неправда. Слыхали эту девушку? Мне известно стало за себя. Чего я притворяюсь? То есть не притворяюсь, но все же видимую причину выдаю за основную. Первотолчок какой-то, у каждого есть конкретный. Но за этим первотолчком желание сделать что-то большее. И красивое. Использовать свои силы на все сто. Ответственность принять на себя. И все это ждет внешнего повода, чтобы выразить себя действием. Не умею я объяснить толком. Пишем мы в заявлениях: ответить на призыв партии, то да се... И, знаете, на самом деле с хлебом-то у нас туго. Мы это понимаем. А стесняемся между собой про романтику говорить, про подвиги. Вроде нескромность. И всячески приземляем, прикидываемся друг перед дружкой: надоело мне жить в общежитии, то да се. Так, в-первых, он и там будет в общежитии, только не на кровати, а на нарах. И он знает это. А во-вторых, он давно мог завербоваться куда угодно...

— Листочек! Разрешили! В Павлодарскую! — с визгом влетела в комнату синеглазая девушка. Листочек, до сих пор незаметно притулившись за печкой, вздохнул так, что легкий ветер прошел по комнате. Они сразу зашептались, послышался ее смех, тонкий, звенящий, и его булькающий, со всхлипом.

Подошла очередь инженера. Он ушел и вернулся через несколько минут, розовый, счастливый, с запотевшими стеклами очков.

— Взяли, — сказал он. — Иначе быть не могло. С итэзовцами у них туго.

— Туго? — спросил Игорь.

— Конечно. Поэтому не беспокойтесь. Вот только бы министерство не заартачилось. У меня здоровье неважнецкое. У вас на этот счет порядок. — Он, улыбаясь, оглядел Игоря и, прощаясь, протянул маленькую, потную руку. Игорь задержал ее и начал торопливо расспрашивать, как там, на комиссии, чем интересуются. От возбужденного лица инженера, от улыбок, тревог, планов, носящихся в душном, насыщенном ожиданием воздухе, уже веяло отрешенностью дальних дорог, нездешней, степной свежестью. С этой могучей, затягивающей силой общего порыва было бы куда легче слить и свою судьбу. Если бы его отправили с ними, на целину... Ну что ж, как все,

так и он. Поехать вместе с этим проектировщиком, вместе с другими...

— А вы куда проситесь?

— Не знаю. Куда пошлют, — сказал Игорь, не понимая, почему у него не хватает духу сказать правду.

— Конечно, если уж едешь добровольцем, так нечего торговаться и что-то выгадывать, — смущенно сказал инженер. — Я бы тоже куда угодно, но мне рыбачить мечталось, поближе к воде... Обещали возле озера Ажбулат... Ну, ни пуха...

Дело Малютина разбиралось последним перед перерывом, и то любопытство, которое вызывает всякое персональное дело, было притуплено ожиданием перерыва.

Игорь видел, как члены бюро с нетерпеливым согласием кивают на слова Шумского, как слаженно и угрожающе быстро разворачивается обсуждение.

Рядом с секретарем райкома и Шумским он увидел Левку Воротова. Когда-то они учились в одном классе, Левка был старостой и уже тогда страшным активистом. Левка узнал Игоря и весело кивнул. Игорь никогда не уважал Левку, ему сразу вспомнился случай с Эдисоном и затем разговор на улице, но он все-таки улыбнулся и тоже кивнул.

Ему задавали вопросы, он отвечал тихо, удрученно. Тон этот появился произвольно. Игорь почувствовал, что лучше всего говорить так.

Всерьез задело его, когда веснушчатая девушка с пышными волосами такого же матово-коричневого цвета, как у Тони, участливо пыталась выяснить, как относится к поездке жена, может быть, все дело в ней, тогда следует как-то помочь... Секретарь райкома привел пример: недавно явился к нему молодой супруг, жена не пускала его на целину, так он подал заявление, требуя, чтобы ее вызвали на бюро для проработки.

В сущности, они старались ему помочь, найти какие-то оправдания. И он с признательностью потянулся к ним навстречу. Было так заманчиво считать причиной всего Тоню. И та доля правды, которая заключалась в этом, все больше казалась ему внушительной, решающей, — ведь он один принял на себя тяжесть борьбы, заслоняя Тоню от всяких тревог.

Тоскливо улыбувшись, он покачал головой — нет, жена тут ни при чем. С мужской гордостью он утверждал свое одиночество, отказываясь от всякого сочувствия и легкой возможности вывернуться хотя бы на время. И сразу же жгучая жалость к себе охватила его. А тут еще кто-то гнусный и подленький внутри успел шепнуть: бей, бей на жалость, давай жми на слезу, это хорошо действует, не стесняйся, сваливай на Тоню, ей-то все равно.

Он ненавидел сейчас этот шепоток и самого себя. Так вот же, не будет никаких слез. Он

не станет прятаться за Тоню, он не станет врать людям, которые хотят видеть его лучшим, чем он есть на самом деле. Они к нему по-хорошему, и он будет...

— Как ты расцениваешь постановления Центрального Комитета нашей партии? Касаются они тебя или нет? — Это спрашивал Шумский.

Игорь отвечал размяченно, поглощенный своими переживаниями. Ведь он тоже вместе с Геннадием и Семеном обсуждал постановления о колхозах и радовался грядущим переменам, целую неделю он оставался вечерами в механическом, помогая налаживать обработку ступицы для жатки, сам вызвался, никто не просил. Ему понравилось, когда нескольких заводских коммунистов направили в колхозы — наши заводские там наведут порядок, — но теперь, когда его самого просили поехать, он все это забыл и думал лишь о том, почему именно он должен ехать, а не кто другой. То, что было правильно и хорошо по отношению к другим, применительно к нему самому казалось отчаянно несправедливым.

— Значит, вы против постановлений партии? — вдруг торжествующе заключил Воротов.

Игорь очнулся. То, что спрашивал Воротов, оказалось замаскированной западней. Воротов не старался убедить, что-то выяснить, ему надо было загнать Игоря в тупик, подвести к ловушке. Почувствовав это, Игорь напрягся, проклиная свою доверчивую размяченность. Воротову нет никакого дела до истинных чувств Игоря, он не возмущается, не презирает Игоря, он скорее даже настроен дружелюбно. Просто ему важно ловчее других, «правильнее», чем все другие, добить Игоря не из каких-то там убеждений, а потому, что ему хочется оказаться самым умным из членов бюро, самым «правильным».

— А если бы после техникума тебя направили в МТС?

— Так то по распределению, — осторожно сказал Игорь.

— А комсомол и партия тобой распоряжаться не могут? Тут ты несогласен, так выходит, — просто и почти благодарно произнес Воротов. Его круглый рот с вытянутыми темно-вишневыми губами был похож на горлышко бутылки. Эту бы тылку можно было наполнить чем угодно и наклеить на нее какую угодно этикетку. Левке легко и приятно поучать, ему небось никуда не надо ехать. Посадить сейчас на место Левки Игоря, он точно так же мог бы наставлять и поучать Левку, а тот изворачивался бы и отбивался, стараясь как-то вывернуться. Нет, Левка бы не поехал: Игорь достаточно знал его. Выходит, все зависит от того, на каких стульях сидим мы с Левкой. Сейчас Левка сидит на стуле члена бюро — он «сознательный», сяду я на его стул — я стану сознательным».

Игорь видел сейчас за столом только Воротову и слышал его одного.

Игорь смотрел на его довольную физиономию, не испытывая ни злости, ни обиды, было лишь единственное страстное желание спросить: а почему ты сам не едешь? Но ему показалось, что это прозвучит вызовом. И в том, что он заставлял себя сдержаться и не говорил так, как ему хотелось, он усматривал страшную несправедливость, он был один против всех, его ловили безошибочно быющими вопросами, а он должен был молчать.

— По-моему, так уж расценивать нельзя, — смиренно сказал он. — Едут добровольно...

Наконец-то ему вспомнился один из заготовленных козырей, и он ухватился за него с цепкостью отчаяния. Призывают ехать добровольцев, тех, кто сам хочет, а если человек не хочет, его не имеют права заставлять насильно.

По улыбкам членов бюро он почувствовал, как неуклюже выглядела его уловка.

Секретарь райкома сказал:

— Как ты думаешь, если вступают в армию добровольцы, они потом в бою тоже делают только то, что захотят? Они, брат, уже подчиняются. Ты в комсомол вступал добровольно. Никто тебя не заставлял. А уж в комсомоле, будь добр, подчиняйся. Иначе разреши товарищам судить о тебе как о комсомольце.

Какой-то студент начал говорить о свободе как об осознанной необходимости, о том, что для Малютина идея не стала убеждением.

«Не то, все не то», — думал Шумский, следя за измученным лицом Малютина.

В нем боролись два разных чувства — он был доволен тем, что вызвал Малютина на райком. Все убедились, что случай действительно трудный, и заводской комитет вынес этот вопрос на бюро не из-за своей беспомощности. С другой стороны, чем больше упорствовал Малютин, тем серьезнее казался Шумскому упрек, выслушанный им вчера от Юрьева. Шумский понятия не имел, откуда Юрьев узнал о деле Малютина, но он уже привык к тому, что Юрьеву известно почти все, что творится на заводе.

— Наказать Малютина должно собрание, — сказал Юрьев. — Что кривнишься, не уверен, что вас поддержат? Какой же смысл тогда наказывать?

— Урок остальным.

— Напугать?

— А оставить безнаказанным еще хуже.

— Почему ж ты лично с ним не поговорил? Комитет... Это не всегда единственный путь. Иногда лучше посидеть вдвоем, с глазу на глаз.

— Может быть, за кружкой пива?

— Может быть, — серьезно сказал Юрьев.

— Ну, знаете ли... чем Малютин лучше остальных? Скольких ребят мы отправляли.

— Вот в этом-то и все дело. Ты рассуждаешь по-инженерному: какая машина быстрее выполня-

ет задание, та и лучше. А люди бывают не только лучше и хуже, они бывают и другие.

У себя на комитете Шумскому надо было преодолеть собственную нерешительность. Тогда он воспринимал поведение Малютина как вызов, Малютин был его личным противником. Сегодня Шумский увидел Малютина как бы со стороны. И его все больше томило замечание Юрьева. А вдруг, если бы он лично поговорил с Малютиным, все повернулось бы по-иному? Бывают же разные люди, к каждому человеку нужен свой подход — это известная истина. Но какие разные, какой подход? Как узнать, чем именно можно прогнать Малютина, чем отличается Малютин от остальных ребят? Ведь с виду парень как парень, поди залезь ему в душу. Парень как парень... стандарт парня; и он подумал, что в его представлении и в представлении кое-кого здесь, в райкоме, существовал некий стандартный парень-комсомолец, наш парень, советский парень, с набором обязательных качеств. Отклонения от стандарта были также предусмотрены: хулиганистый парень, пассивный парень, трепач... То есть по той же шкале: лучше и хуже среднего образца. И вот впервые Шумский задумался над тем, что, кроме этих удобных обозначений, существуют еще и другие, более сложные, и, кто знает, может быть, Малютин такой сложный характер, с которым надо обращаться как-то по-иному. Шумский не знал, как именно, но то, что говорили здесь, на райкоме, все это были не те слова. Он чувствовал: говорят так оттого, что он сам в начале заседания охарактеризовал Малютина по стандарту, и членам бюро неоткуда знать о нем больше, они поверили ему, Шумскому. И даже секретарь райкома, умный и чуткий парень, который поддерживал Шумского с какой-то скрытой неохотой, все-таки поддерживал.

Из приемной пробивался многоголосый шум целинников. К нему привыкли, но в наступившей паузе Игорь вдруг прислушался к тому, что творится за дверьми. Он почувствовал на себе внимательный взгляд Шумского, глаза их встретились.

— Как ты думаешь, почему они едут? — спросил Шумский.

«Так то ж на целину», — хотел сказать Игорь, но вместо этого фыркнул, накопленное усталое раздражение прорвалось в нем.

— У кого что... У кого жилплощади нет, кто женихов ищет, — сказал он и зло и насмешливо, и вдруг услышал, что говорит тем же тоном, теми же словами, какими говорил тот, вислоносый железнодорожник.

— Эх, ты! — презрительно сказала девушка с волосами, похожими на Тонины. — Обыватель ты. Типичный обыватель.

Игорь почувствовал, как неудержимо краснеют его шея, щечи. Он попытался вспомнить что-либо из заготовленных, очень умных, ловких от-

ветов, но все куда-то пропало, растворилось в усталом безразличии.

— А если так вопрос встанет: не едешь — значит, недостойн быть в комсомоле? — медленно сказал секретарь райкома.

— Это неправильно будет, — пробормотал Игорь.

— Ты брось, ты не финти! — вдруг закричал Шумский. — Ты отвечай прямо!

Этот окрик был как протянутая рука помощи, но Игорю было уже все равно, он устал.

Игорь упрямо сжал губы; на бледном лбу его обозначились острые, похожие на трещины морщины. Молча, изнуренно он смотрел и смотрел, как одна за другой поднимались руки. Шумский вышел вслед за ним.

— Вы подождите, — сказал он торопливо. — Я знаю, вам комнату жаль и вы за жену боитесь. Верно? Боитесь, что она не поедет? Верно? А? Но что это за счастье, если оно рассыплется из-за комнаты? Значит, это все ненастоящее. А? — Он держал его за отворот тужурки и быстро выкладывал все, что надумал на бюро и что, казалось ему, должно было подействовать на Малютина, в то же время понимая, что теперь говорить об этом поздно. И все же он не в силах был удержаться.

— Послушай, а ты сам-то едешь? — спросил Малютин.

— Мы так решили на комитете, — темно краснея, сказал Шумский. — Если вы откажетесь, поедет кто-нибудь из нас. Да, я поеду, — произнес он с внезапной решимостью. — Поеду я.

— Ну, так чего ж ты меня уговариваешь? Чтобы самому не ехать? — усмехнулся Игорь. — Послушай, у тебя закурить не найдется?

— Нет, — ошеломленно ответил Шумский. — Я не курю.

— А-а, — разочарованно протянул Игорь. — Жаль. Ну, бывай...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Он медленно спускался по лестнице, все еще продолжая усмехаться. На последней площадке он остановился, застегнул тужурку, надел перчатки. Это были хорошие черные кожаные перчатки. Их приятно было натягивать и потом застегнуть, щелкнув пуговичкой. Он носил их третью зиму, и они были совсем как новенькие, только на указательном пальце в прошлом году он прожег дырку папиросой. Оттуда торчала красная, волосатая подкладка. Полгода, как он не курит. С тех пор как Тоня сказала: «Ох, как от тебя воняет табачищем!» Сейчас бы крепко затянуться. Папиросы можно купить на углу. Оставалось спуститься по лестнице еще один марш. Игорь сел на подоконник. По ступенькам поднимались две девушки. Старшая — в малиновых лыжных штанах, с чемоданчиком и хоккейной клюшкой в руке;

младшая, худенькая, совсем девочка, держала старшую за рукав. Игорь удивился: неужели женщины играют в хоккей?

— Не волнуйся, — говорила старшая, — этого не спрашивают, главным образом устав. За что какие ордена — это тоже обязательно.

— А про художественную литературу?.. — спросила младшая. На согнутой руке у нее болталась детская сумочка; из-под тряских, мелких кудряшек на Игоря посмотрели испуганные глаза.

Он сплюнул сквозь зубы в пролет, далеко, через всю лестницу: «Дуреха. Завилась. С утра гладилась и чистилась. Ну и дуреха...» И вдруг он как бы со стороны увидел на этой лестнице себя. Несколько лет назад он поднимался по ней вместе с комсоргом Федюниным. Накануне вечером отпарил брюки. По дороге Федюнин инструктировал его. Также, поди, насчет устава. А заявление ему помогал писать Геннадий. Получалось длинно. Геннадий все вставлял и про молодогвардейцев, и про выполнение нормы. Когда перешли на третью ступень, Игорь порвал и написал заново: «Хочу быть в первых рядах».

От каменной лестницы тянуло знобящим холодком. Еще сильнее захотелось курить. Считая ступени, он спустился вниз. Восемь ступеней. Два в кубе. Часы в сумрачном вестибюле сияли, как луна. Четыре часа. Два в квадрате. А до дверей на улицу — два шага. Два в первой степени. Ловко получается. И во всем городе нет друга, к которому можно бы прийти и посидеть. Даже не посидеть, а раздеться и завалиться спать. Он мог бы сейчас проспать часов пятнадцать кряду. Закрылся бы одеялом с головой и сразу бы уснул.

За столиком дежурная вязала, с неправдоподобным спокойствием позвякивая спицами. Игорь шагал мимо нее взад-вперед. Вдруг он обеспокоенно остановился. Дежурная поверх очков посмотрела на него. «Подожди-ка. Подожди-ка». Где-то тенью скользнула мысль. Это была какая-то очень важная мысль. Если он уйдет отсюда, то уже не вспомнит. «Подожди-ка. Все-таки им следовало рассказать про свой автомат. Про модернизацию. Выложить все об экономии. Как же это он упустил? Все на Лосева надеялся. Им нечего было бы возразить. Производительность труда возрастает на восемьдесят процентов. Дубина. Вот уж дубина! Ни у кого рука бы не поднялась послать человека, занятого важным открытием. Тут уж он доказал бы им, кто защищает интересы государства! Им что, лишь бы норму выполнить. Вернуться? Вернуться и рассказать?..» Он подошел к лестнице, взялся за перила. «Поздно... Они подумают, что он это нарочно придумал... Сам во всем виноват».

Игорь снял перчатки, обтер вспотевшие руки о полы тужурки. Ничего не поделаешь. «Ничего не поделаешь», — повторил он, представляя, как такую фразу говорит секретарь райкома. — Причина уважительная». И тогда Игорь скромно

вдохнул бы и развел руками. И рад, мол, в рай, да грехи... И сейчас шагал бы по улице свободный, счастливый человек, ни о чем не думая, и вечером рассказал бы обо всем Тоне...

Никогда уж ему не быть таким счастливым. Тот Игорь, который жил до сих пор, не имел никакого отношения к теперешнему. Тот жил прекрасной, безмятежной и уже недоступной жизнью. Тот мог смеяться, ни о чем не думая. Сейчас Игорь презирал себя. Ничтожество. Трусил перед Лосевым. Но тут же он начал оправдываться: Шумский мог бы возразить: «Передайте ваши расчеты Вере Сизовой, и она закончит модернизацию без вас, вы ведь утверждаете, что у вас все готово».

У него пересохло во рту. А, пропади оно все пропадом! Покурить — и спать. Подумаешь, что случилось! Ну, исключат, ну и что? С точки зрения астрономии, как любил говорить Семен, вся наша жизнь — жалкое мгновение. Плюнь на все, береги свое здоровье!

По лестнице спускался Леонид Прокофьевич. Игорь расправил морщины на лбу, принял беспечный вид. Как, оказывается, легко это делается!

Они поздоровались. Игорь попросил закурить. — Куришь? — почему-то обрадовался дядя и сунул ему пачку «Беломора».

После возвращения Игорь еще ни разу не видел его таким возбужденным. Голос дяди звенел, лицо было мягкое, распаренное, словно после бани, с белыми полукружиями под темными глазами.

Вышли на улицу вместе. Леонид Прокофьевич шагал быстро, длинным, легким шагом и смотрел куда-то вверх, в серое, безветренное небо, откуда быстро падал крупный снег. Он был таким частым, этот снег, что, казалось, сам воздух стал мохнато-белым.

На площади Леонид Прокофьевич взял Игоря за руку повыше локтя и остановился перед памятником Кирову.

Запорошенные снегом, отчетливо проступили складки бронзового плаща, гимнастерки, каждая морщина лица, брови, губы. На пьедестал насыпало целый сугроб, и Киров как будто шел по снежной целине, проваливаясь, разгоряченный, распахнув тонкий летний плащ.

— А я гадал — это будет весной, — сказал Леонид Прокофьевич. — Вколотил себе в башку. Каждый день ворожил. Тысячу двести дней.

Игорь затянулся, выдохнул дым и спросил, что случилось.

Леонид Прокофьевич посмотрел на него недоуменно, притянул к себе, холодными, жесткими губами поцеловал его в одну щеку, потом в другую и рассмеялся. Это был неожиданный, скрип-лый, прерывистый смех.

...Они сидели в саду. Ребятишки возили сцепленные санные поезда. Мокрый снег шипел под полозьями. Малыши счастливо кричали. Леонид Прокофьевич вынул из кармана новенький красный

партийный билет. Одной рукой он открыл его, другой заслонил сверху от падающего снега. Руки его дрожали, Игорь читал с трудом: «Логинев Леонид Прокофьевич, год рождения — 1896, время вступления в партию — февраль 1915 года».

— ...Как же я могу быть против советской власти, когда это моя власть? — спросил я у следователя. — Когда я сам ставил эту власть, дважды воевал за нее... Это ж дичь какая-то, — сказал Леонид Прокофьевич давним дядиным голосом, и Игорь закрыл глаза. — При своей директорской жизни отвык я от настоящих лишений, так что там мне туго пришлось. Знаешь, что мне помогло? Вспомнил, как в шестнадцатом году сидел в той же тюрьме за пропаганду. Сперва перепугался: что ж это я сравниваю? Как я смею? Уговаривал себя — ошибка, мало ли ошибок бывает, тем более что хитро все это велось: вместе с нами арестовывали и действительных врагов и жуликов. Потом вижу: ошибка не единственная. И следовательно мой при всей своей подлости понимает: никакой я не враг, и не контра, понимает и все же требует, чтобы я дал показания против себя и товарищей. Заглянул я в себя, и оказалось мне, что и впрямь я ошестиниваюсь. За все, что со мной, с товарищами делают, за все, что увидел. Вот когда меня дрожь пробрала. Как же дальше жить? И зачем жить? Э-эх, нет, думаю, отступиться хочешь от своей партии, не веришь в нее, в свой ЦК? Если так, барахло ты, Логинев, а не коммунист. Тогда я сказал им: не выйдет, господа хорошие, не выйдет по-вашему. Вы хотите меня сделать врагом партии — не выйдет. Это вы враги! Вы! враги нашего строя, нашей идеи, нашего Центрального Комитета. И я вам не поддамся. Поддаться вам — значит предать все, чему я верил, во имя чего жил, предать Ленина. Предать мою партию, не поверить в то, что ЦК разоблачит врагов, справится с ними... Убедил я себя, что попал в плен к врагам. Правда, трудно было осознать, представить себе... У этих людей партийный билет лежал в кармане. Такой же, какой у меня отобрали. И они жили среди нас, рядом, бок о бок, а мы не видели их. От этого все становилось сложнее, запутаннее и ужасней. Были среди них люди искренние, которые верили, что партии, государству из каких-то высших, не ведомых им соображений нужно, чтобы мы оговорили сами себя. И самого меня порой сомнение охватывало: а вдруг я чего-то не понимаю? Вот в чем самые страшные пытки заключались! Но были там и другие люди. Они понимали, что никакие мы не враги. Они все понимали. Они действовали сознательно. Когда увидели, что физически нас не принудить, давай психически гнуть. Сперва посулы, обещания, потом на испуг: не подпишу, мол, показаний, мне еще хуже будет. Смотрю я на следователя — совсем еще мальчишка, циничное, наглое существо, никаких принципов, совести, ничего из того, что, казалось, мы вложили в душу каждого за тридцать

лет. «Нет, — говорю ему, — хуже мне не будет. Хуже мне уже быть не может. Самое худшее — это что вы допрашиваете меня, а не я вас». И я понял, что должен сохранить себя коммунистом, сохранить в себе коммуниста. Вначале я на себя все усилия направлял, со своей душой боролся, но скоро понял и то, что за себя драться легче, когда дерешься за других. Надо было сохранить тех товарищей, к которым они подбирались, не дать перебить наши кадры замечательных большевиков. На все остальное плевать мне было. Оказалось, все можно вынести. И когда Нюша от меня отказалась (наверное, запугали ее), даже это вынес. Зато несколько товарищей отстоял. И это, о-го, как поддерживало! Понимаешь, настоящий коммунист остается коммунистом в любых условиях. Даже когда враги отберут у него партийный билет. Я знал, что верну его. Здоровья не верну, семью тоже не вернуть, а билет я себе верну. Я всегда в это верил... Знаешь, я отвык от сантиментов, а тут готов встать на колени... Нет, не стыдно. Люди какой партии могли бы пережить такое и продолжать верить? Понимаешь ты всю силу ее правды? Ну, какая еще партия могла бы так открыто, мужественно все исправить?

Небо налилось дымно-сиреновой краской. Снег все падал и падал. На плечах, на коленях Игоря лежали высокие, белые наросты. От холода ломило ноги.

Леонид Прокофьевич запрокинул лицо вверх, словно ловил губами снег.

— Смешно... И почему я представлял всегда, что это будет весной? Лужи. Солнышко... И что я иду с палкой... А я вот еще какой! — Он вытянул перед собой свои длинные, костистые руки и засмеялся с такой силой, что Игорю обожгло глаза.

...Игорь шел по улице, останавливался у витрины и снова шел. От бесконечного мелькания снежинок у него разболелась голова. За стеклом витрины блестели электрочайники, пылесосы, звонки. Он вошел в магазин и долго стоял, наморщив лоб, перед прилавком. Потом он вспомнил и купил четыре метра шнура, восемь роликов и штепсель. Ходьба не согревала его. Снег все падал, липкий, тяжелый. Вдоль тротуаров росли плотные кучи снега, дворники сгребали его лопатами, тащили на фанерных листах, а он валил и валил с этого темно-лилового неба, такого низкого, что, казалось, снег появляется где-то над самыми проводами.

Сырым желтым светом горела вывеска: «Междугородный переговорный пункт». Игорь поднялся в небольшой зал и сел на широкую скамью. В телефонных кабинках вспыхивали лампочки, репродуктор объявлял Москву, Таллин, Закопье... Снег быстро таял, свертываясь на тужурке в блестящие бусинки. Надо было встать, отряхнуться, но ему не хотелось шевелиться. Колени стали

мокрыми. Знобкая сырость ползла по спине. Простудиться бы, схватить воспаление легких. Несколько месяцев лежать в больнице при смерти. По вечерам приходила бы Тоня, сидела у кровати, гладила бы его горячую руку. Просились бы навещать Геннадий, и Шумский, и Вера Сизова. Он слабо мотал бы головой — нет. Он пускал бы к себе только Семена и дядю.

Игорь вытащил бумажник, достал комсомольский билет. Листки были такие же светло-зеленые, как в дядине партбилете. На фотокарточке он выглядел совсем заморышем, острижен под бокс, такая была тогда мода. Через два дня после денежной реформы снимался. Сорок рублей старыми деньгами заплатил. А на оставшиеся двадцать пошел в кино. Они жили тогда еще в старом общежитии на Балтийской. Полдома было разрушено. У них в комнате была вторая дверь, открытая — и внизу улица. В Ленинграде много домов стояло разбомбленных. По воскресеньям разбирали завал. В сущности, это они восстановили дом, тот, где сейчас детский сад. Весной ездили сажать деревья в парке Победы всей комсомольской группой, Игоря назначили бригадиром. Он разведенными чернилами поливал землю, уверял всех, что деревья вырастут фиолетовыми. Месяца два назад они с Тоней смотрели Игореву крестника, стоит кленок в ногу толщиной, в красных листьях.

Столбики членских взносов, выведенные синими, зелеными, даже красными чернилами. И подписи. Кудрявая, веселая — Федюнина. Недавно он заехал на завод — весь в золотых нашивках, сбоку кортик, на козырьке золотого, смотреть больно. Лейтенант. Всегда географией увлекался. Недаром его Миклуха-Маклаем прозвали. А вот подпись Яши Васина. Это был азартный парень. Силой, можно сказать, заставил Игоря в техникум поступить. От всех поручений освободил. Кричал ужасно, ругался так смешно, что за животы держались, и никто не обижался, любили его. Был бы сейчас Яша комсоргом, он бы рубанул всем этим Шумским. Вот в феврале прошлого года 1250 рублей — премия за комсомольский рейд по экономии металла. Крепко полазили. А вот двести восемьдесят, двести десять — диплом кончал, Семен и Генька подкармливали... Кошкин с какой лихостью подписывался! Этот на спорт напирал. Он Игоря к лыжам приохотил. Гонял без пощады. Сейчас заправляет заводским ДСО. Великий трепач, но и великий лыжник.

Никому другому эти цифры и подписи ничего не скажут. А для него, Игоря, тут вся биография, из месяца в месяц. Возьмет их чужая рука, подчеркнет крест-накрест... Однажды на загородной прогулке он хватился — нет билета. То ли дома оставил, то ли потерял. Час-другой он терпел, потом не выдержал, помчался домой. Отыскал билет в старом пиджаке и одурел от счастья. Незадолго до этого Макарьева, наладчика из их цеха, исклю-

чили за то, что, выпивши, оставил билет буфетчице в залог, а та потеряла. Исключили его, а он работает, живет и в ус не дуется. Никаких собраний и никаких попреков: «Эх ты, а еще комсомолец!» Или: «Вы, как комсомолец, обязаны...»

— Гражданин, не вы Малую Вишеру заказывали? — Кто-то тряс его за плечо.

Игорь с трудом поднялся, вышел на улицу, деревянно ступая затекшими ногами. Снег перестал. Сверкающая белизна выстелила крыши, изукрасила карнизы и фонари; было светло, нарядно и холодно. Прибранная улица по-чужому, торопливо и весело брэнчала трамваями, сыпала зелеными звездами с проводов, шумела многоголосыми тротуарами, снова людная, как будто и не было непогоды, как будто метель была нужна лишь для того, чтобы выбелить старые дома. В руке у Игоря болтался моток провода. Он остановился, вспоминая, зачем купил провод. Ага, для настольной лампы. Он тупо посмотрел на конец провода. Внутри серой резиновой трубки горели медные срезы проволоки. Он попробовал определить сечение. Десять квадрат. А может быть, пятнадцать квадрат? Он никак не мог вспомнить формулу для многожильного провода. Он шел и все пытался сосредоточиться и вспомнить.

Люди улыбались, говорили, скользя по нему невидящими взглядами, усталые, празднично возбужденные, сердитые и все непонятно далекие: ни сочувствия, ни любопытства. Ничего, ничего не изменилось в безостановочной огромности жизни. Никому не было дела до катастрофы, постигшей его.

Он шел, не разбирая дороги, хлюпая серой кашицей талого снега, останавливался, поворачивал назад и снова спешил, не зная куда, пытаясь убежать от своего неприкаянного, все более губительного одиночества.

На троллейбусной остановке прощались две девушки — та, в малиновых штанах, с клюшкой, и вторая, с детской сумочкой. Девушка с клюшкой вскочила в троллейбус, а вторая пошла навстречу Игорю. Красное, распаренное лицо своей блаженной усталостью напоминало лицо дяди...

Игорь испуганно взглянул на часы: половина седьмого. Ноги его рванулись вперед, он свернул на мостовую, где было не так скользко, и побежал. Моток шнура болтался на согнутой руке, в кармане пощелкивали ролики. Навстречу, ослепляя огнями, неслись машины. Смятение и страх пронизывали все существо Игоря, подстегивая, гнали все быстрее вперед.

Опоясанная фонарями белая площадь подползала с ленивой неторопливостью. Игорь отталкивал ногами землю. Он бил ее тяжелыми ботинками. И только властная привычка спортсмена заставляла его следить за шагом, работать плечами. Не переводя дыхания он взлетел по лестнице. Все, кто был в приемной, обернулись к нему. Он вытер

рукавом липкое от пота лицо и распахнул дверь кабинета.

Заседание еще продолжалось. Пионервожатая призывно, как памятник, протянув руку с фиолетовыми пятнами чернил на пальцах, кричала:

— ...У нашего костра есть преимущества...

Увидев Игоря, она замолчала, нетерпеливо дернув концы галстука. Игорь стащил с головы кепку. Секунду-другую длилось молчание. Все смотрели на него. Трое пионеров за спиной вожатой фыркнули. Изнуряюще длинной может оказаться одна секунда. Пустынней дорожной тоской, удушьем, сжимающим горло. Хотя бы кто-нибудь помог, спросил, зачем он пришел, сказал бы ему хоть слово... Он ненавидел себя, и эту душную комнату, и ухмылку Воротова, и нервно моргающего Шумского, и этот огромный стол с бронзовой пушкой.

— Я прош... — Сухой хрип вырвался у него из горла. Он откашлялся. — Я... значит, согласен поехать...

Воротов играл карандашиком, ловко вертя его между пальцами. Игорь медленно провел языком по пересохшему небу и услышал слитный, из всех грудей разом вырвавшийся вздох, в котором были и облегчение и радость, как будто вздохнула вся комната.

— Давно бы так, — сказал секретарь, и по голосу его Игорь, не глядя, понял, что он улыбается. — Молодец!

— Осознал, значит? — подхватил Воротов. — Теперь ты можешь сформулировать...

— Хватит, — грубо оборвал его Шумский. — Сам формулируй.

Секретарь райкома стукнул по столу так, что бронзовая пушка весело и длинно зазвенела.

В приемной, не садясь, не снимая мотка провода с руки, Игорь написал заявление: «В соответствии с решением комсомольской организации прошу направить меня на работу в МТС по моей специальности».

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Они разминулись. Тоня прибежала в райком, когда Игорь сидел на телефонном пункте. Инструктор сообщил Тоне, что дело Малютин уже разбирали, постановили передать на исключение, «Вы что, с ума сошли!» — Она вцепилась ему в плечи. Инструктор, широкоплечий, коренастый парень, испуганно отшатнулся. Она помчалась домой. Лифт полз медленно, отщелкивая этажи. Ей виделось, как Игорь лежит в пальто на кровати, лицом в подушку и плачет. Она ничего не знала, кроме того, что ей сказал Генька и сейчас этот инструктор.

В квартире никого не было. Комната была заперта. Тоня отомкнула дверь и, не раздеваясь, села на стул. Сердце стучало где-то в ушах. Она

даже не поблагодарила Геньку. Ни о чем не спрашивая, побежала в райком. После того как Игорь выгнал его вчера, Генька все же нашел ее и рассказал. Он думал, что ей все известно. Наверное, Игорь надеялся как-то вывернуться. Сейчас он сидит где-нибудь на бульваре, стиснув руками голову, терзаясь своим дурацким мужским самолюбием.

Тоня зажгла свет, сбросила пальто, накрыла на стол, достала консервы, нарезала хлеб, поставила варить картошку. Она двигалась бесшумно, замирая, когда гудел подъемник лифта. Она подмела переднюю, потом подмела кухню, потом принялась чистить наждаком кастрюли. Может быть, он отправился в пивную и пьет? Тоня повязала платок и остановилась в передней, соображая, где его искать. О ней он нисколько не думал. О том, что она ждет здесь, дома, и тоже волнуется. Эта мысль ему и в голову не пришла, плевать он хотел на ее переживания.

До свадьбы Тоня часто рисовала себе несчастье, которое случится с Игорем, все равно какое несчастье, и как она станет поддерживать его, утешать. Она сдернула платок, швырнула его и затоптала ногой, как будто это был не платок, а ее жалость к Игорю и тревога за него. У нее тоже есть свое самолюбие. Она тоже может не думать о нем. И не желает думать. Напряженно громким голосом она запела песенку о журавлях:

Мне привет свой шлют прощальный
В память летних светлых дней...

Слова были грустные, но она пела нарочно бодро и твердо и брэнчала в такт ножом по кастрюле, перемешивая картошку.

На площадке металлически лязгнула дверь лифта. Тоня выбежала в переднюю и услышала за дверью шаги Игоря, медленные-медленные. Цок вставляемого ключа... На цыпочках она вернулась в комнату, посмотрелась в зеркало. Провела кончиками пальцев под глазами, разгоняя красноту вздрагивающих век. Она сердито смотрела себе в глаза, добиваясь, чтобы лицо в зеркале стало надменным и спокойным.

Она слышала, как он вошел. Лицо в зеркале побледнело. Она рассердилась и спросила невинно:

— Ты чего так поздно?

— Тоня, — сказал он, — Тоня...

От этого голоса у нее перехватило дыхание. Она резко повернулась к Игорю. Он стоял у кровати. В одной руке у него моток провода. Брюки обвисли, мокрые до колен. Все было на нем мокрое, обвисшее, и ей показалось, что и сам он как бы висит на своих глазах, устремленных к ней с какой-то робкой, истощенной мукой. Она сунула руки за пояс.

— Вспомнил, что существует Тоня... — Она судорожно вздохнула и вдруг бросилась к нему, обняла, прижимая его к себе изо всех сил.

— Я все знаю. Ты не бойся... Не надо, миленький. Все пройдет... Смотри, ты ведь промок. Маленький ты мой, измучился... — Она целовала его, руки ее расстегивали пуговицы тужурки. Она говорила не переставая, не слыша себя и не думая, что говорит, она стащила с него сырую тужурку, посадила его на кровать, присела перед ним на корточки и стала снимать с его ног ботинки.

— Ну, что ты, я сам, — говорил он.

— Нет, ты сиди. У тебя совсем мокрые ноги. Ты простудишься. Тебе надо что-нибудь выпить.

— Подожди, а откуда ты узнала?..

— Мне сказал Генька, я сразу в райком. Вот, видишь, какие у тебя носки. Ложись сейчас же в постель.

— Генька! — Он оттолкнул ее. — Представляю себе... Доволен? Добился своего.

— Как тебе не стыдно! Вот тебе сухие носки. Ну, не нужно об этом сейчас.

Вдруг до него дошел смысл ее слов.

— Значит, ты все знаешь? — Он соскочил с кровати, сел перед Тоней на корточки, крепко стиснул ее плечи. — А я так боялся. Я не знал, как ты... Тоник, я не мог иначе. Ты, конечно, как хочешь... Может быть, я сглупил.

Он заглядывал ей в глаза, уверенный, что она согласна ехать с ним, и нарочно отстраняя от себя эту уверенность.

Озлобленная убежденность его слов: «Я не мог иначе», — неприятно поразила Тоню. К своему цеховому комсомолу она относилась как к чему-то будничному. Но где-то там, за стенами цеха, существовал тот, большой комсомол Лизы Чайкиной, Зои Космодемьянской, комсомол, который уезжал на целинные земли. И она понимала, что Игорь исключен не только из их заводского комсомола, но и из того большого, настоящего. Это было катастрофой, и он должен был относиться к этому как к катастрофе. А он, страдая и мучаясь, в то же время как будто гордился своим поступком.

Недоумение в ее коричневых глазах все сильнее тревожило его.

— Но ведь тебя еще не окончательно исключили, — осторожно сказала она.

— Почему исключили? Раз я согласился ехать, так никто и не зайнется об исключении. С чего ты...

Он остановился, догадываясь, что произошло. Геннадий не мог знать про его согласие ехать. Тоня была в райкоме...

— Так, значит, тебя не исключили?

— Нет. Я согласился поехать в МТС.

Игорь сел на кровать и стал надевать сухие носки. Он аккуратно натягивал их и растирал мерзлые, занемелые пальцы. Ровным голосом он рассказывал, как все произошло, и не смотрел на Тоню. Стоило ему хотя бы на мгновение остановиться, как он сразу чувствовал ее молчание. И

он торопился снова говорить. По дороге домой он приготовился к самому худшему. Тупое равнодушие застилало и страх и крохотную надежду, которую он нарочно считал крохотной... Ему казалось, что он больше неспособен ни бояться, ни ждать.

— Тебе, конечно, незачем ехать, — сказал Игорь. — Я и не рассчитывал, что ты поедешь. Я все понимаю. Пожалуйста, ничего не объясняй. Если бы тебя посылали, я бы и не подумал ехать с тобой. Вот как. Ну, ладно, я лягу. Устал я с этой вольницей.

Не взглянув на нее, Игорь лег лицом к стене, прижимая к груди стиснутые кулаки. Он ничего не чувствовал, он только боролся со своими губами. Они вытягивались и вздрагивали. Он скинул их, но они неудержимо дергались.

Ему почудилось, что Тоня смеется. Он скрючил пальцы на ногах, закрыл глаза. Но он явно слышал ее шелестящий смех, веселый и необидный. Он почувствовал, как она наклонилась над ним, прижалась к нему грудью. Легкая прядь ее волос упала на щеку.

— До чего ж ты смешной, — зашептала она ему в ухо. — Тебе нравится чувствовать себя таким несчастным? Нравится, да? Тебе не стыдно? Разве я тебя оставлю? И как ты мог подумать! Чего страшного поехать в деревню? Мне это даже интересно. Едут же ребята на целину и будут там жить в палатках. Что мы, хуже их? Мы с тобой молодые, здоровые. Ты думаешь, я тебя утешаю? Очень мне надо! Ну, посмотри на меня. — Она подсунула ему руку под голову, пробуя повернуть его к себе, но он больно стиснул ее руку, прижал к щеке.

Она хотела заглянуть ему в лицо, он уткнулся лицом в подушку, закрылся плечом, продолжая сжимать ее руку. И Тоня почувствовала, что есть минуты, когда нельзя смотреть мужчине в лицо. Она понимала, что от ее поцелуев ему сейчас еще труднее, но не могла удержаться, она даже не целовала, она водила губами по его шее, по его заросшему затылку. Наверное, никогда так не любишь человека, как в тот момент, когда сделал его счастливым.

— Представляешь себе, деревня, поля. Утром выходит стадо. Под окном у нас будут цвести яблоньки.

— Так тебе и приготовили.

— Я сама посажу. И выращу. Буду ухаживать. И ты будешь ухаживать. Ты ведь умеешь ухаживать. Мы с тобой просто не знаем деревни. Помнишь, как в кино, в «Кубанских казаках» — они живут там получше нашего.

— Так то на Кубани.

— А тебя куда?

— В Новгородскую или Псковскую.

Тоня на минуту задумалась.

— Ну и пусть! — Она решительно взмахнула рукой. — Неужели тебе не интересно испытать

себя? Ты видишь все в черном свете. А представь себе, будем спать где-нибудь на русской печке. И спать-то некогда, кругом прорва работы, без выходов, всякие тракторы, комбайны. Своего угла нет. А мы и не думаем жаловаться и не хнычем. Подаем остальным пример.

— А твой институт?

— Придется, может быть, пожертвовать институтом.

Коричневые, большие глаза ее блеснули, волосы растрепались, рассыпались по плечам. Она стояла подбоясь, возбужденная и светлая, как будто внутри у нее гудел огонь. И она готова была сжечь в этом пламени и мечты об институте и все свои остальные мечты, и чем больше жертв, тем лучше. Ей все было нипочем. Она увлекалась своей бесшабашной смелостью. Слушая ее, Игорь чувствовал, как в нем растет такое удалое, отчаянное. Оказалось, что можно легко сняться и махнуть в деревню, ни о чем не жалея, жизнь-то вся впереди, и счастье в их жизни в том и состоит, чтобы быть выше всех этих вещей и комнат. Выходит, Шумский прав. Если счастье держится на комнате, на городе, то какое же это счастье? Но ему не хотелось признавать правоту Шумского. В этом было что-то обидное. И эта обида чем-то еще не осознанным переносилась и на Тоню, на ее такое неожиданное согласие.

— Какая же я свинья, — сказал он. — Стукни меня. Крепче. Ты едешь, а я вместо того... чего-то ною, какую-то развожу бодягу. — Он стиснул ее так, что она вскрикнула.

За ужином и весь вечер они обсуждали свой отъезд. Время от времени Игорь испытующе переспрашивал Тоню: неужели она действительно хочет ехать с ним? И ей нисколько не жалко? И она действительно рада? Он никак не мог успокоиться. Поминутно вскакивал и ходил по комнате, шел за Тоней на кухню и все смотрел на ее лицо обожающе-благодарным взглядом. Постепенно в нем разгоралась торжествующая гордость за нее и за себя. Мы едем. Мы оба. Приказали, и мы едем. В самое гиблое место посылают, и мы едем.

Укладываясь спать, Тоня спросила:

— Почему ты мне вчера ничего не рассказал?

— Я думал, все обойдется. Не хотел я тебя расстраивать.

— Стол ходили покупать, — размышляла вслух Тоня. — Ты уже все знал. И ночью, когда легли...

Ей вспомнился весь их разговор, до последнего слова, вчера ночью. Ему уже все было известно, а он притворялся, обманывал ее. Значит, он способен обманывать... Только сейчас она сообразила — Геня-то был уверен, что ей все известно, вот почему он так удивился. Запоздалый стыд охватил ее. Что мог подумать Геня?.. Кто

она Игорю — домработница, кухарка? В такой момент чтобы у человека не было желания поделиться! Так можно поступить лишь с чужой, не любимой женщиной.

— А когда ты домой возвращался, ты как рассчитывал?

— Что как? — спросил он.

— Не крути.

— Я не знал... Ну, я не знал, как ты...

— Нет, ты знал, знал. Ты был уверен, что я не поеду. Теперь тебе просто стыдно сознаться. А тогда ты был уверен. Нет, ты скажи честно.

— Для чего тебе все это?

Тоня усмехнулась с горьким удовлетворением. Возбуждение, которым она жила весь вечер, вдруг схлынуло, уступая место жгучей жалости к себе. Едкая, горячая волна перехватила дыхание, подняла, понесла, и не было сил убежать от нее.

— Как ты мог... Вы все считали меня такой... И Геня... И, наверное, на комитете... Но ты... Ты вместе с ними... И ты тоже не верил мне. Ни одной минуты.

Она вышла из-за открытой дверцы шкафа в ночной рубашке, впервые не попросив его отвернуться, не стесняясь. Мелкие слезы текли из ее широко открытых глаз. Она плакала, не опуская лица, не всхлипывая... Погасила свет и легла.

— За какое же ничтожество ты меня принимал!.. Уверен был, что я останусь из-за этой паршивой комнаты... Так... не уважать... зачем жить с такой...

Игорь машинально гладил ее спутанные волосы, что-то говорил, грустно глядя поверх ее головы в дальний, освещенный луной угол комнаты, где стоял письменный стол, накрытый зеленой бумагой, на которой белел моток шнура.

Они заснули обнявшись и утром могли бы и не вспомнить о своей размолвке. Для Тони было достаточно, что Игорь признал себя виноватым. С утра ее целиком захватила новизна их положения. Надо было оформлять расчет, решать, как быть с мебелью, комнатой, сделать необходимые покупки. В универмаге, когда Тоня примеряла сапоги, продавщица вздохнула: «На целину едете?» Тоня засмеялась: «Потруднее, чем на целину». Девчата из отдела восхитились ее решимостью, заместитель главного инженера остановил ее в коридоре, долго расспрашивал и пожал ей руку. Приехал корреспондент из «Смены», Тоню позвали в транспортный цех и сфотографировали почему-то на фоне старого паровозика, и корреспондент записал ее слова: «...Неизвестность меня нисколько не пугает. Что касается учебы в заочном Политехническом институте, то я надеюсь продолжать ее в деревне».

В эти суматошные, заполненные предотъездными хлопотами дни ей казалось, что весь город собирает ее в дорогу. По радио транслировали митинги на вокзалах перед отправкой комсомольских эшелонов. Девчата шушукались, собирая

деньги на подарок, и перед самым отъездом Костя Зайченко от имени отдела торжественно преподнес ей часики с никелированной браслеткой. Все хвалили ее, восторгались ею, и только Игорь день ото дня становился все грустнее. Разумеется, у него было о чем грустить, но Тоня обижалась. Как бы там ни было, Игорь прежде всего должен радоваться, что она едет с ним. Ему следовало больше всех гордиться ею; в сущности, она ехала ради него. Что ему еще надо? Достаточно того, что она без всяких колебаний, немедленно согласилась, она не требовала никакой благодарности. Ей хотелось, чтобы он был рад, и больше ничего. Ее оскорбляло, что какие-то другие огорчения могли пересилить радость, которую она дала ему. Он ходил неразговорчивый, хмуро сжав губы, и порой она с возмущением замечала осуждение в его прищуренных глазах. Как будто она меньше его теряла, покидая город, эту теплую комнату, с газом, с ванной, своих подруг, каток, театр! Но она умела спрятать свою грусть ради него, она мужественно старалась казаться довольной ради него. Не хныкала, не вздыхала...

Каждому своя боль кажется самой сильной. Ее не с чем сравнивать. Даже собственную пережитую боль человек не умеет сравнивать с той, которая мучает его сейчас.

Только теперь Игорь начинал постигать подлинные размеры надвигавшихся перемен. Последовательно, одна за другой, рушились его замыслы в работе над «Ропогом», надежды, связанные с его автоматом. Стоило ему так унижаться перед Лосевым! Сперва продать себя за комнату, потом молить о заступничестве... Зачем было ссориться с Геннадием? Отношения его с ребятами были испорчены.

И все его поведение оказалось глупым, стыдным, ненужным. Все было зря, пустую. Он, человек, который уезжал по комсомольской путевке, который стольким жертвовал, чувствовал себя виновато пристыженным и чем-то запачканным.

В тот вечер, когда Игорь вернулся из райкома и Тоня согласилась ехать с ним, ему казалось, что он навсегда счастлив. Куда же делось это счастье? Вспоминая легкость, с которой Тоня приняла решение, он сейчас испытывал разочарование. Он-то принимал случившееся как несчастье, считал, что защищает Тонию и ради нее пошел к Лосеву, ради нее стойко держался на комитете. А она словно предала, высмеяла все его переживания. Если бы Тоня страдала из-за отъезда — возможно, ему было бы легче. Его раздражала ее шумная беззаботность, какое-то воробьиное бездумье. «Легко ей все досталось», — недовольно шурялся он, наблюдая, с какой веселой решимостью Тоня расправлялась с их маленьким хозяйством.

Первая размолвка быстро забывается, не помнишь, из-за чего она возникла и как. Но есть в ней неизгладимая горечь открытия. Вдруг оказы-

вается, что любимый человек может быть несправедливым. Оказывается, он не чудо и не исключение. Его можно не любить день и два дня. Он может быть неприятен. Со злорадным удовлетворением находишь в нем заурядные слабости...

Поднося ложку с супом, она громко прихлебывает. Наладит петь какие-нибудь «Журавли» и долдонит их до одури, часами упаковывает чемодан, запихает туда столько, что крышка трещит и гранитоль лопаются, и при этом бесполезно ей что-либо доказывать.

А он?

Он может сесть за стол с грязными руками, и у него противная привычка не резать, а ломать хлеб кусками. Собрать толком вещи он не умеет, зато будет шагать по комнате взад-вперед и делать замечания...

В отделе кадров Игорю дали обходной листок, или, как его называли на заводе, «бегунок». Наверное, за то, что, заполняя его, набегаешься досыта. С каждой новой отметкой на листке, будь она даже от кассы взаимопомощи, которой он никогда не пользовался, словно обрывалась одна из скреп, связывавших его с заводом.

Игорь обрадовался, не застав знакомых в тесной, жаркой комнатухе ДСО, похожей на грелку их лыжной базы. Секретарша проверила карточку, не числится ли за ним спортивный инвентарь, и звучно прихлопнула «бегунок» треугольным штампом. В дверях Игорь столкнулся с председателем ДСО Кошкиным.

— Привет! — закричал Кошкин. — Пронюхал насчет гикарей? На животе ползать заставляю! Ноги будешь целовать! Продажная душа! Только этим тебя купить можно. — Он потащил Игоря в угол, за шкаф, где стояли четыре пары лыж. — Настоящий гикарь! Цены нет! — кричал Кошкин.

Игорь провел ногтем по твердому, блестящему дереву — да, это был гикарь, мечта каждого лыжника.

— Убедился? Теперь вы у меня побегаετε на тренировочки, — сказал Кошкин, потирая руки. — Теперь я вас, субчиков, поманежу. Имей в виду... — Он вдруг увидел в руках Игоря длинную ленточку «бегунка» и замолчал. Игорю стало за него неловко. Он вспомнил, как в прошлую зиму они ездили в Кавголово и Кошкин терпеливо учил его повороту с выбросом руки, сам не катался и два воскресенья только и занимался им.

Кошкин смущенно почесал свою толстую, могучую шею.

— Да, верно... Слышал, слышал... Когда едешь?.. На кросс не успеть... Ну, ничего. Там, брат, на лыжах — красота. Вышел из дому — и катись на все четыре стороны. У тебя как, инвентарь имеется? Напиши, если чего надо. И Антонина едет?

— Едет.

— Безобразие, лучшие кадры разбазаривают. — Местничество, — усмехнулся Игорь. — А калориями тебя кто обеспечит? Гикарь будешь жевать?

Он злился и недоумевал, почему никто не жалует его, не видит ничего особенного в том, что он уезжает. Новость принимали легко и привычно. Лишь кое-кто, подметив его настроение, смущался, начинал, вроде Кошкина, утешающе хлопать по плечу и сообщать, какой чистый воздух в деревне, какая там тишина и какое молоко. Он возмущался: кто ж им мешает поехать за этим молоком? Небось предпочитают получать его в магазине.

Только библиотечарша Анна Моисеевна вздыхала и сказала напрямик:

— Человек устроился, женился... Пусть бы тех, кто из колхозов убежал, назад посылали. А тут... совсем еще мальчик.

Она записала его в библиотеку четыре года назад. Она почти не изменилась с тех пор. Под халатиком все та же коричневая вязаная кофточка, так же небрежно причесывает свои седые волосы, и маленькие, морщинистые пальцы всегда запятнаны чернилами. Сегодня люди припоминались такими, какими он впервые увидел их, поступив на завод. Тогда он брал у Анны Моисеевны только художественную литературу. Про войну. Про шпионов. Научно-фантастические романы.

— Целая биография, — сказала Анна Моисеевна, перелистывая его пухлый, со многими вкладышами формуляр. — Помнишь, как я тебя уговаривала взять Флобера...

Он кивнул головой, хотя не помнил. Вероятно, так и было. Не с Флобером, так с другой книжкой. Анна Моисеевна всегда упрасивала его прочитать то Стендаля, то Горького. Поначалу он брал эти книги только для того, чтобы не расстраивать ее, а потом приохотился...

— Тут техника пошла, — сказала Анна Моисеевна. — А вот про Кавказ. Зачем про Кавказ? — Это мы в поход собирались.

Она подносила формуляр к самому носу. Выпуклые, близорукие глаза ее грустно моргали.

Плотно заставленные книгами стеллажи поднимались до потолка. Из темной, всегда чуть таинственной полутьмы узких коридоров шел сухой, теплый запах книг. Раздобыв нужную ему статью, Анна Моисеевна обрадованно звонила в отдел. Она была в курсе всех его дел, а он ничего не знал о ней, никогда не интересовался, не знал даже, как ее фамилия.

— Ты не стесняйся, — сказала Анна Моисеевна. — Пиши, если понадобится специальная литература. Я вышлю. Прочитаешь, назад пришьешь. Может, тебе надо с собой взять по тракторам, а?

Сквозь полураскрытую дверь виднелся читальный зал с толстыми коврами дорожками, с разноцветными обложками иностранных журналов на щите.

— Знаешь, Малютин, — она бережно пригладив формуляр, — я тебя не стану с абонемента исключать.

Игорь пощатал деревянное перильце и сказал злобно:

— Нет уж, вычеркивайте.

От его резкого голоса Анна Моисеевна виновато съежилась. Маленькая рука ее послушно перечеркнула формуляр жирным лиловым крестом.

Игорь пожал плечами. Чем она виновата? И к чему показывать свое горе чужим людям?

Он вежливо попрощался. Не поднимая головы, Анна Моисеевна протянула руку. Дверь хлопнула за ним, и словно что-то оборвалось, еще долго звеня.

Одна за другой закрывались двери, становились чужими цеха, заводские площадки с бетонными фонтанами, с досками почета, закопченные корпуса мартена, облупленные стены компрессорной. Разнимались сомкнутые в пожатии руки.

Сколько все же накопилось друзей-товарищей за эти годы! Он шел по главному пролету турбинки. Перед ним в дынно-сером величии торжественно возникали убегающие вдаль и ввысь мощные порталы цеха. Застекленные своды как будто покоились на прозрачных колоннах света, устремленных вниз, сквозь опаленный, пахнущий маслом, окалиной воздух; в кружении дрожащего, напряженно потного блеска сотен станков скрежетала, вопила неподатливая сталь, дымились вороные спирали стружки. Багрово пылали зевы печей, откуда термисты в пропотелых тельняшках вытаскивали алые кольца бандажей и с мягким стуком раскаленного металла бросали их под обжимный пресс. Там шла великая победная битва человека, вооруженного огнем и металлом, с тем же, еще первобытно-диким металлом, который надо было воплотить в осмысленную форму, передать ему волю, точность, многолетнюю готовность служить, работать и двигаться.

С жадностью и болью Игорь вдыхал дымные запахи этого сражения, чуя привычный азарт боя, бессильный уразуметь свою непричастность к этому родному и прекрасному миру. Проходя мимо большого шлифовального станка, озаренного приветливыми ливнями длинных искр, он машинально прислушался, поймав в его мягком шуме утомленный, перебойный хрип, как у бегуна на финише. Станок давно полагалось ставить в ремонт, а цех все тянул и тянул, и теперь Игорю было совестно перед этим работягой, которого он давно знал и любил и которому так и не успел помочь.

Когда-то все станки казались ему одинаковыми, он различал их только по маркам и номерам. Но с годами, перемыв и обтерев по нескольку раз каждую шестеренку, он начал ощущать души станков. На характере станка сказывался и характер работающего за ним человека и характер наладчика; тончайшие, едва уловимые обстоя-

тельства невидимо откладывались где-то в износ зубьев и осей, на тусклой поверхности подшипников, создавая особый, неповторимый нрав станка. Появились свои любимцы и недруги, со многими станками он перешел на «ты», спокойно посмеиваясь над их напризами и хитростями.

Долго и медленно ходил он по боковым пролетам между бойкими, веселыми автоматами, мимо маленьких, унылых старичков-строгальных, мимо крикливых здоровяков-сверлильных. За фанерными щитами сипели опаловые клювы сварки. Над головой в серых сумерках раздавались требовательно-дружеские звонки кранов. Под ногами чернел пропитанный жирной грязью, шербчатый, хрусткий от окалины и стружки, поблескивающий рельсами пол. Высились хаотические для чужого взгляда груды заготовок, но уж кто-кто, а он, Игорь, знал, что этот задел — великое богатство цеха, гарантия бесперебойного ритма.

Солнечные глазки печей обдавали его жарким дыханием. Плакаты страстно требовали внимания к заказу — двадцать шесть ноль один. И во всем этом была непостижимая боль разлуки и отлучения.

Как никогда, был ему мил простор заводского двора с невесть как сохранившимися деревянными домишками контор, где в тусклых окошечках краснела герань, с громким шипением вырывающегося из-под земли пара, с рыжими тушами отливков, с эстакадами, трубопроводами, черным блеском каменного угля.

Встречные кивали ему озабоченно, приветливо, обрадованно. Тех, кого он не знал лично, он знал в лицо, он все равно знал. Вот сварщики — он узнавал их по защитным очкам, вздернутым на лоб; мартенщики — в широкополых войлочных шляпах; шишельницы — в землисто-пыльных ватниках; опаленные краснолицые прокатчики, модельщики с приставшими к спецовкам опилками, молодые токари, слесари в беретах, кокетливые девицы в накиннутых на плечи пальто — это служащие заводоуправления; маляры, монтеры — он мысленно прощался с каждым, и острое чувство сиротливости все безысходней отчуждало его от всего того, что до сих пор составляло его сущность.

«Бегунок» кончался. Все и всем было возвращено и на соответствующих местах заверено росписями и печатями. Игорь пощупал папку, засунутую под тужурку. Она одна не давала ему покоя, хотя в обходном листке не имелось пункта, кому сдать эту папку.

Ожидая Лосева, он сидел возле машинистки в желтом плюшевом кресле, в котором обычно сидели посетители. Большая комната отдела главного механика была тесно заставлена чертежными столами. На стенах висели графики ремонта. Потрескивали арифмометры. Инна Семеновна, как всегда, рылась в ящиках с картотеками и оглушительно чихала от поднятой пыли, и Борис Никодимович терпеливо говорил ей «будьте здо-

ровы». За столом старшего инженера Абрамова обсуждали отчет по модернизации. До положенного количества не хватало нескольких процентов, и все рылись в бумагах, вспоминали, дотягивая. Сам Абрамов, маленький, седенький, стоял у своего стола, одетый в затрапезное пальто, в кожаную с потертыми мерлушковыми ушами шапку, и нервно переминался с ноги на ногу. Абрамов постоянно ходил в пальто, делая вид, что ему куда-то надо бежать. Даже за свой стол он присаживался, не снимая пальто, поминутно поглядывая на часы. Это позволяло ему избегать щекотливых положений, когда надо сказать «да» или надо сказать «нет». Он говорил: «Простите, я тороплюсь, вот придет Лосев, вы с ним...» — и убегал. Летом, в жару, он ходил в сером макинтоше и шляпе и, так же мучительно морщась, переминался с ноги на ногу. Рабочие за эту манеру окрестили его выразительно и неприлично — «мочальник». Инженер он был знающий, опытный, но чем-то навсегда испуганный, как говорили в отделе — «затрущенный, словно его ударили по голове пыльным мешком».

Отдел жил своей обычной жизнью, понятной и близкой Игорю до самых интимных мелочей и в то же время уже невозвратно далекой. Бывший техник отдела главного механика... Он смотрел со стороны, как посетители, которые всегда сидели в этом кресле.

Абрамов взглянул на часы и спросил у Игоря, не помнит ли он, что еще можно вписать. Игорь улыбнулся, покачал головой:

— Какая там модернизация! Очковтирательство это, а не модернизация. Будто вы сами не знаете. Заменяй гайку и пишем: модернизация. Нет того, чтобы по-настоящему повозиться. Лишь бы отчет заполнить... — Он говорил смакующе-медленно и громко, наслаждаясь своей безудержной свободой. То, о чем он говорил, Абрамов и остальные инженеры знали лучше его, но он мог сейчас говорить об этом вслух, а они остерегались, и они понимали это, и некоторым это было неприятно, а некоторые были довольны. Абрамов, мучительно морщась, посмотрел на часы и затропился.

— Адью, — сказал ему вслед Игорь.

Направляясь к себе в кабинет, мимо прошел Лосев. Прервав Игоря, он спросил, не останавливаясь:

— Вы ко мне?

— К вам... Или еще модернизируем рухлядь, — продолжал Игорь, радуясь тому, что Лосев слышит его. — Тысяча девятисотого года пресс, а мы ему перманент устраиваем. Его бы на свалку. Но нашему отделу все равно. Говорим одно, делаем другое, в отчет пишем третье.

— Откуда вы все это узнали, Игорь Савельевич? — насмешливо пропела Инна Семеновна.

— Из «бегунка», — сказал Игорь.

Лосев приветливо усадил Игоря, спросил, куда получено назначение, на какую должность. Слабостный хмель независимости продолжал кружить голову Игоря.

— Между прочим, — небрежно сказал он, вытаскивая папку, — мне удалось решить проблему с резцами для «Роплага». И тогда все остальное получается здорово просто. А вы считали, что не выйдете!

— Да... — недоверчиво протянул Лосев, следуя своей выработанной системе: поощрять собеседника к откровенности лучше всего, высказывая недоверие. В тех случаях, когда собеседник хвастает, врет, следует соглашаться и поддразнивать — это помогает ему окончательно завратиться.

Готовность, с какой Малютин вытащил листки с эскизами, убедила Лосева, что он говорит правду.

Игорь ждал расспросов о подробностях, поскольку от этих набросков до рабочих чертежей было еще далеко, но Лосев молчал. Он равнодушно почесывал кончиком карандаша свое толстое, прижатое к голове ухо и смотрел в окно.

— Я отдам всю эту штуку Сизовой, — вызывающе сказал Игорь. — Она доведет ее до конца. Мы докажем, что были правы.

— Хороший мог из вас получиться механик, — вздохнул Лосев. — Обидно, что не удалось мне выцарапать вас. — Он досадливо стукнул мягким кулаком по столу. — Давайте ваш обходной.

Росчерк в конце его размашистой подписи походил на рыболовный крючок.

Игорь нерешительно завязал папку.

— Ловкая особа, — сказал Лосев, вставая. — Отправила вас в МТС и при этом уговорила подарить ей такую идею...

— Она не уговаривала.

— Не забывайте нас. Пишите, что могу всегда буду делать, как и раньше делал.

Игорь поднялся, крепко, обеими руками держа папку.

— Но ведь это нехорошо, если все зря пропадет...

— Зачем пропадет? — Лосев опустил ему на плечо мягкую, розовую руку. — У хорошего хозяина ничего не пропадает. Подальше положишь, поближе найдешь. Дойдет время и до «Роплага». Вот тогда вам и карты в руки. А так что ж, все лавры Сизовой, о вас никто и не вспомнит. Эх, не разбираетесь вы в людях. Она вам яду, а вы ей лимонаду.

— Вы против Сизовой из-за «Роплага», — недоверчиво сказал Игорь.

— Зачем же. «Роплаг» мы отложили на время. А она в ответ вот какую пакость подстроила, и мне и вам. Думаете, я ей это так оставлю? Она у меня еще пожалеет. Ничего у нее не пройдет. Если бы вы не уезжали, ну тогда мы с вами еще что-нибудь сообразили бы, а так нет, нет.

Неслышно ступая на толстых каучуковых подошвах, Лосев прошелся по кабинету.

— Моего сына тоже звать Игорем, — сказал он, морща низкий, заросший волосами лоб. — Ну, это неважно. Мое дело — сторона. Вы поступайте по совести. Отдавать ли свое, дорогое, выношенное в чужие и нечистые руки или самому иметь силу воли, иметь мужество довести до конца? В таких делах надо решать самому... Ну, не поминайте лихом. Надеюсь, вы скоро вернетесь.

Лосев проводил его через весь зал. Они шли в проходе между чертежными столами. Лосев придерживал Игоря за руку. Игорю было стыдно за свою прежнюю неприязнь к этому человеку. Он никогда не видел от Лосева ничего плохого, наоборот — он был многим обязан Лосеву, и все же за всем хорошим ему всегда виделся какой-то скрытый умысел. Выходит, он ошибался? Геннадий на поверку оказался предателем, а Лосев, чужой человек, принял к сердцу его беду. И сдерживаемая до сих пор гордостью и обидой тяжесть прощания с родным заводом, где прошла юность, где пережито столько чудесного, прорвалась сейчас в иступленной благодарности, с какой он тряс руку Лосеву, неловко придерживая локтем папку.

Прозрачно-голубоватые глаза Лосева растроганно блеснули, успевая подмечать среди окружающих насмешливо-недоверчивые лица.

Последний раз Игорь спустился по звонкой железной лестнице, последний раз пересек двор, вдыхая гниловатый чад серы. Сквозь высокие переплеты фасоннолитейной светилось оранжевое пламя, нестерпимо яркое даже днем. Показались квадратные сиреневые колонны проходной, клумба, красивая и зимой, потому что она одна среди выскобленного асфальта была завалена снегом, тонко засеянным черно-желтой копотью. Последний раз повернул обернутую до блеска чугунную вертушку проходной. Сдал пропуск. Незнакомая девушка в отделе кадров приняла «бегунок», не глядя на Игоря, поставила штамп в паспорте. Вот и все. Теперь уже все.

Ему редко случалось посреди рабочего дня стоять у проходной. Охранныцы забюро хлопали рукавицами и спорили, какие валенки теплее — черные или серые. На трамвайной остановке было непривычно пусто. В бюро пропусков приезжий «толкач» кричал по телефону: «Передайте, что я от Паротина Эдуарда Борисовича».

Следовало все-таки сообщить Вере насчет автомата. Никаких эскизов не показывать, а просто сказать, пусть знает, что она наделала. Он засмеялся, представив себе, как Вера ахнет и начнет кусать губы. Он шагнул к проходной, пошарил в одном кармане, в другом и остановился, сообразив, что пропуска у него уже нет и на завод его не пустят. Брови его изумленно выгнулись — его не пустят! Он должен звонить и заказывать пропуск. На свой завод...

Войдя в трамвай, он долго еще пожимал плечами и смущенно усмехался.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

К утру потеплело. Город появился из мглы, обросший мохнатым инеем. На побелевших каменных цоколях домов чернели отпечатки ребячьих ладоней с растопыренными пальцами. Стены, фонари, вывески, зеленые будки-подстаканники, в которых сидели регулировщики, — все выплыло блистающей белизной. С бережной неподвижностью стояли деревья на бульварах, до самой верхушки, до самой тоненькой веточки изукрашенные снежной хвоей.

За наспех сколоченными загородками продавали елки. Чистый лесной аромат плыл по улицам, заглушая дымные запахи города. Никогда еще Ленинград не виделся им таким нарядным и свежим, как перед разлукой.

Они прошли родную Нарвскую заставу, от самого Автова, мимо вышки строящегося метро. Им уже не придется спускаться вниз на эскалаторе и ехать до Невского. Мимо клуба Газа, где в следующую субботу (а их уже не будет) состоится молодежный бал, мимо универмага, куда на днях, как сказали Тоне, привезут тюль, мимо их любимого памятника Кирову...

Над незамерзающей водой Обводного канала молочно клубился пар. Тоня подняла воротник, защищаясь от копоты, которая летела здесь из труб Треугольника, ГЭС и Газового завода.

У обшарпанной подворотни им преградила дорогу машина, качающая дымящуюся грязь из люка. Неподалеку стояла шумная очередь за яблоками, их продавали во дворе, заваленном клетями дров и мусорными бачками. И это тоже был Ленинград. С его просторными новыми площадями и мрачными колодцами старых дворов, с непутевой, капризной погодой, когда в морозы врывается оттепель, а то вдруг заладит нудная изморозь; с его сыростью, туманами, белыми ночами; с его многолюдной сутолокой, очередями, гриппом, зеленоватой водой бесчисленных каналов и рек и белыми яхтами на взморье.

Они ехали в автобусе. Разговаривать не хотелось. Игорь смотрел на крыши, уставленные растопыренными антеннами телевизоров. Эрмитаж — и Тоня подумала, что они так и не успели вместе сходить в Эрмитаж. Сколько раз собирались... Билеты были взяты до ЦПКиО, но у Кировского моста, не сговариваясь, встали и вышли. Пройдя половину моста, они остановились у перил. На белом просторе Невы, возле лунок, чернели скрытые фигурки рыбаков. У быков моста лед был сизый, обдутый, местами совсем прозрачно-тонкий, и казалось удивительным, как он может держать на себе железную громаду моста.

Но они ничего этого не видели. Нева жила перед ними розовой, теплой водой, в блесках раннего июньского солнца, такой, какой она была в то утро. Они возвращались тогда с проводов белых ночей, из Парка культуры вместе с ребя-

тами. На мосту они приотстали и остановились вот здесь. Пляж у Петропавловки был пуст. Чайки садились на воду, течение несло их к мосту; как только выгнутая тень моста касалась их, они поднимались, низко летели обратно и снова опускались на румяный блеск воды. Игорь тогда украдкой покосился на Тоню, она повернулась к нему вопросительно, ожидающе, готовая к улыбке, к шутке, но он почему-то промолчал, и они оба смутились. Они вдруг перестали слышать все, кроме возникшего между ними молчания. Оно росло, устрояя их невыносимым ожиданием минуты, должной решить все. Никто из них не знал, почему она настигла их именно здесь, на мосту, после целой ночи праздника, почему она пришла одновременно к обоим. Во всем этом таилось что-то жутковато-странное. Тоня побледнела и отвернулась, невидящими глазами следя за чайками. Но Игорь чувствовал, что она ждет, он должен был почему-то произнести эти слова вслух, хотя она все поняла и он тоже все прочел в черных, лучистых солнечных ее зрачков, и все же они оба ждали этих слов, волнуясь и трепеща от страха. Он должен был сказать их именно тогда и никогда позже, все зависело от того, хватит ли у него сил открыть рот. Это было почти физически невозможно. Он не мог разлепить губы, пошевелить языком. Каждую ночь он мысленно репетировал эту минуту и находил какие-то удивительные, редкие, красивые, нежные слова, а тут что-то до боли свело ему челюсти и в голове сильно звенело от сумасшедшей холодной пустоты. Он сам не слышал, как, хрипя и срываясь на беззвучный шепот, вытолкнул из себя эти слова. Он не смотрел на Тоню. Он смотрел вниз, и его тянуло туда, в кипящие разводы воды между быками... Не касаясь друг друга, какие-то одеревенелые, они сошли с моста и так, молча, шли через весь город, оцепенелые от нестерпимого счастья, страшась смотреть друг на друга.

...Сухие снежинки остро щекотали их лица. Неужели любовь их стала меньше за эти полгода? Они робко прильнули друг к другу. Тоня ласково и храбро сжала замерзшие пальцы Игоря, и то зловещее, темное, что в последние дни сгушалось, отталкивая, разрушая, вдруг растаяло, исчезло. Все казалось неважным и ничтожным, важно было лишь то, что они остаются вдвоем перед неведомым будущим, неустроенно-пустынным, как бесприютная ледяная гладь Невы.

Город уплывал от них, прекрасный, могучий, блистая окнами дворцов, заиндевелыми решетками, высокими шпилями, уплывал вместе с друзьями, катком, музеями, неоновой рекламой кино, витринами магазинов. На трубах его, как на флажштоках, ветер полоскал флагами дыма. Город безжалостно разворачивал перед ними длинный счет теряемого...

— Неужели тебе не жаль уезжать? — спросил Игорь.

Тоня запрокинула лицо, скрывая слезы. Плечом он почувствовал ее прерывистый, сдавленный вздох. И это горе обрадовало его. Они снова были вместе, и все их потери были одинаково тяжки для обоих.

— Ты бы только знала, как я тебя люблю! — сказал он, волнуясь тем давним волнением, какое было сопряжено с этими словами. — Ты настоящий друг. А я — свинья.

— Никакой ты не свинья... Это я виновата... Я хотела, чтобы ты похвалил меня.

— Нет, я подлец. У меня ведь нет никого, никого, кроме тебя, — говорил он, не слушая ее. — Мне с тобой ничего не страшно.

— Перестань, а то я по-настоящему разревусь.

Они шли сквозь мягкую тишину Марсова поля, снова вместе, слитые легким шагом, теплом тесно прижатых плеч, тем влюбленным восторгом, который вспыхивает после примирения. Утоляя сдерживаемую за дни одиночества жажду общения, они торопливо делились накопленными недомолвками и секретами. Тоня решительно защищала Лосева — с какой стати дарить Вере свою работу? И правильно, что он ничего не сказал Вере.

Она поддерживала Игоря с такой уверенностью, что он позволил себе посомневаться: неловко получится, если пойдут разговоры. Семену, например, все известно.

— И пусть, — горячо сказала Тоня, — так им и надо, хватятся, кого потеряли, да будет поздно.

Она произнесла вслух почти те же самые слова, какие он говорил себе, и это было приятно. Ничто больше не разделяло их и ничто никогда не разделит.

— Тоня...

— Если бы ты мог понять! Ты ничего, ничего не понимаешь. Разве тебе понять, что я чувствую. Ну почему ты ничего не понимаешь?

— Я понимаю.

— Нет, нет, ты не понимаешь.

Их мучила невыразимость любви, немота счастья, доходящая до боли.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Курчавая голова Семена заслонила красный свет фонаря, комната погрузилась в багровый полумрак, исчезли стены, и Гене представилась ночная степь с далеким отсветом пожара. Никогда в жизни он не видел настоящей степи и настоящего пожара. И неизвестно, увидит ли. Он лежал на кровати, пел, подыгрывал на гитаре:

Мой караван идет в степи...

Собственная жизнь казалась ему глупой и скучной. Пробыть двадцать с лишним лет на этой рядовой по размерам планете и не увидеть ничего,

кроме заезженных пригородов. Это, так сказать, географически. А если взять по духовной линии? Тоже нулевые показатели. Голосом и наружностью его бог не обидел. Кто знает, может быть, из него получился бы оперный артист. На худой случай эстрадный певец. Иди, скажем, инженер. Учился бы на инженера, отбарабанил бы пять лет и стал бы инженером-электриком. Работал бы в КБ, и какая-нибудь Вера Сизова не воротила бы нос от него. А так что он, допустим, для той же Веры? Рабочий! А она интеллигентия, культура, интегралы-тангенсы.

Семен, посапывая, промывал пленку в тазу. Вода булькала в темноте, как будто плескалась большая рыба. На рыбалку Геня тоже никогда не ездил. Вообще никаких удовольствий и приключений в его биографии не имелось.

Сегодня выдался редкий вечер, свободный от всяких собраний. Предложил Кате пойти погулять. Она тронула его за руку и сказала жалобно: «Нет, Гепечка, ты меня, пожалуйста, больше не приглашай». Обиделась после той истории. Просто поразительно, откуда такое самодушие у этой пигалицы. «Пожалуйста, не приглашай!» А сама стоит и ждет, что он будет упрашивать. Даже жалко стало голову ей морочить. Никаких чувств к ней он не испытывал. Не только к Кате. Всегда как-то получалось, что он скорее принимал ухаживания, чем ухаживал сам. Ему нравилась собственная неприступность и снисходительная доброта. Он мог вполне свободно пойти гулять с какой-нибудь другой девушкой, ни одна бы ему не отказала, и та же Катя, если бы он поднажал. И он доказал бы, что чихать хотел на таких, как Вера, со всей ее гордостью. А вместо этого пришел домой, и валется на кровати, и будет валиться весь вечер. Что касается Веры, так тут имеется просто спортивный интерес. Будь у него что-либо серьезное к Вере, он не в состоянии был бы видеть ее недостатки. А тут, пожалуйста, сколько угодно.

Геня закрыл глаза — и тотчас она возникла перед ним такая, как в тот вечер в клубе — в праздничной кофточке, в рукавах сквозили розовые плечи. Он увидел ее руку — сильные, пухлые пальцы с впадинами у сгиба. Короткие ногти, темно-розовые, без блеска. Единственное, к чему он прикасался, это всегда теплые пальцы ее руки. Из-за Игоря отношения с Верой испортились, все запуталось, так что не разберешься. Выступление Геннадия на комитете ей, наверное, понравилось. Но если по-честному, так, не сунь Вера свой нос, Игоря бы не отправили. Она виновата, и он еще заставит ее усовеститься.

Что-то заскрипело, треснуло в темноте.

— Скоро ты там? — сердито спросил он.

— Тоню дымом паровозным закрыло, — сказал Семен.

— А другие?

— Ничего.

Показать свой интерес к проводам Игоря Геня не желал, тем более что в упорстве, с каким Семен отклонялся от рассказа, Геня чувствовал упрек.

— Беспринципный ты человек, — сказал он раздраженно. — Глубоко аполитичная личность.

— Это почему?

— Помчался целовать-утешать. Поддакивал, конечно, когда меня ругали.

Семен, держа пленку за края, смотрел на свет кадр за кадром: Тоня болтает с Катей и девушками; Леонид Прокофьевич и Юрьев поднимают рюмки с вином. Юрьев подвез Леонида Прокофьевича на своей машине, к дому и зашел попрощаться. И остался посидеть. Остался потому, что увидел — хамство допустили: к Тоне пришли из ее отдела, подарки всякие принесли, а Игоря никто не провожал. Юрьев сказал, что он приехал от имени дирекции, но все поняли, что это он здесь же придумал.

На перроне девчата толпились вокруг Тони, а Игорь стоял один. Семену поэтому и не хотелось расстраивать его и выяснять про станок. Сам Игорь ничего не говорил, но Семен ощущал в нем ту же напряженную скованность, какая была в нем самом. И только когда прогудел паровоз, они вдруг горячо обнялись, забывая обо всем и прощая друг другу все, чувствуя лишь, что расстаются, и кто знает, насколько.

Семен со вздохом опустил пленку в воду.

— Не хватает еще нам с тобой поссориться.

Он сказал это терпеливо и кротко, уступая как старший, и это возмутило Геннадия, привыкшего к тому, что для Игоря и Семена он был всегда безусловным авторитетом.

— А я читал, скоро будет прямое фотографирование, — сказал Семен и принялся объяснять, как можно обходиться и без негативов и прямо вынимать из аппарата готовый снимок. Он постоянно вычитывал какие-то сногсшибательные новости науки и техники, будь то астрономия, межпланетные корабли, полупроводники, или подземная газификация, или гидростанция на Средиземном море. Его страстью была техника коммунизма. Как будут люди жить через сто лет. Он выписывал журнал «Техника молодежи» и брал из библиотеки фантастические романы. Он был домосед и вел все несложное хозяйство товарищей: покупал продукты, следил за уборкой, ставил чайник. Неуклюжий, с большим, пористым носом и тяжелой челюстью, Семен производил впечатление угрюмое, на самом же деле это был добродушный парень, заботливый и преданный друзьям, как верная нянька. Считая себя уродом, он стеснялся девчат, ни с кем не гулял.

— Ты мне зубы не заговаривай, — сказал Геня. — Я тебя насквозь вижу. Ты считаешь, что Игоря я загубил.

— Ничего я не считаю... А если ты не виноват, так почему провожать его не поехал? Ведь

нехорошо получилось, Геня. Дружили, дружили...

— Извиняться перед ним прикажешь? Дудки. Я человек идейный. Тебе легко стоять в стороне. Святоша! А мне решать надо было. Дружба — это не блат, — с удовольствием повторил он слова Юрьева. — Я свой долг выполнял. И до конца бы выполнил, если хочешь знать, вплоть до исключения. Ты бы на моем месте, конечно бы... Эх, да что говорить! Где тебе понять... Можете меня считать за кого угодно, но моя-то совесть чиста.

В темноте грузно заскрипел стул, выплеснувшись на пол вода.

— Известно, ты человек идейный, — густой голос Семена потяжелел. — Фигура уважаемая. А мы с Игорем рядовые комсомольцы. По-твоему, даже плохие комсомольцы. Безыдейные. Непонятно одно: где ж ты раньше был? Сколько лет прожили вместе, друзья-товарищи, и ничего ты не замечал. А теперь — исклечить. Один Игорь, выходит, виноват. А ты? Массы воспитываешь, а у себя под боком не видишь... Чего-то у тебя не сходится. Чувствуешь? Да и не верю я, чтобы ты так про Игоря... Думаешь ты одно, а говоришь другое. Говоришь одно, а получается третье...

— Ну, ты! — угрожающе крикнул Геня и стиснул гриф звенящей гитары. — Не зарывайся! Я молодость свою комсомолу отдал! Не тебе меня судить. Три года тяну, все личное время отдаю. А ты, ты тут журнальчики почитываешь, снимки щелкаешь. Игорь техникум кончил, у тебя уже шестой разряд... И вы, шкурники, обыватели, будете меня...

— Не хвастайся, — коротко сказал Семен, — не стало легких, так заговорил печенкой. Тебе самому, признайся, жаль Игоря? Вот то-то. Неладно с ним получилось. Не вышло ли тут накладочки...

— Никакой накладочки! Если надо, какие могут быть разговоры. Обмещанились! Если надо, так пожертвовать можно не то что комнатой, всем, всем можно. Так всегда было. Кому ехать, кому, я тебя спрашиваю? Старика Коршунову? Он-то поедет. Он и на гражданскую войну ходил и двадцатипятилетником уезжал в деревню, ему не привыкать. Нет, врешь. Наша очередь пришла. Иждивенца растить? Нет, к черту!

Семен долго молчал, потом сказал, вздохнув:

— И все-таки чего-то не того. — Он неопределенно покрутил пальцами в воздухе. — Ведь, знаешь, у Игоря насчет «Ропага»... получилось. Он здорово там придумал.

— Ты откуда знаешь?

— Перед всей этой заварухой он в цех ко мне приходил, рассказывал.

— Значит, добил-таки. Молодец! Нет, ты понимаешь, что за голова у этого парня!

— Только вроде зря все это.

— Как зря?

— Он, мне кажется, заматал это хозяйство.

— Не может быть!

— Я на вокзале почувствовал.

Геннадий щипнул струну, басовое гудение хмуро и угрожающе заполнило темноту.

— Ты только не вздумай трепать об этом, — забеспокоился Семен. — Обозлили Игоря, вот он... Кто другой, а ты мог бы с ним по душам поговорить.

— Может быть, он Лосеву сообщил?

— Никому он не сообщил, я по глазам видел...

— Подлец он! Ты понимаешь это? — закричал Геннадий.

— Нет, я не понимаю. Ты вот всегда сразу все понимаешь, — сдержанно, с мягким укором сказал Семен.

В дверь постучали.

— Нелзя! — крикнул Семен. — Кто там?

— Комендант.

— Минуточку, — сказал Семен, накрывая стол одеялом. — По-твоему, он подлец, — продолжал он, — а почему ж этот подлец поехал? А?

Геня отвернулся к стене, с силой ударил по струнам:

Еще один потухший день
Я равнодушно провожаю...

Семен включил свет, повернул ключ в дверях. В комнату вбежал комендант, поджарый, длинноносый, похожий на борзую, закружился, шумно приняхиваясь.

— Любопытно, — бормотал он, подбираясь к столу, накрытому одеялом, — а что у вас тут? Любопытно.

— Самогон, — сказал Геннадий, не поворачиваясь. — Самогон и карты. А в шкафу три посторонние голые женщины. Не хотите разделить компанию?

Комендант поднял край одеяла и конфузливо рассмеялся.

— Света нет, на гитаре играют... Такая обстановка. Любопытно.

— Наука любознательна, невежество любопытно, — произнес Семен. Он выписывал себе в блокнот всевозможные афоризмы, изречения и любил щегольнуть ими.

— Да, — сочувственно вздохнул Геннадий, — собакой ищейкой он тоже работать не умеет.

— Это как понимать — тоже? — разозлился комендант. — Вы мне бросьте тут нарушать. И вообще... Одеяло вот запачкаете своими фиссажами, тогда... Входи! — крикнул он.

На пороге показался долговязый парень в сапогах, с большим фанерным чемоданом, выкрашенным темно-зелеными разводами.

— Принимайте нового жителя, — сказал комендант. — Которая тут койка свободная? Э-э, да вы ее уже освоили. Очистить! Располагайся. Полотенце получишь в белье. Правила внутрен-

него распорядка изучить. И вообще... — Погрозив пальцем, он ушел.

Парень поставил чемодан у кровати, снял сумочное пальто, кепку, вынул из кармашка гребешок, причесался, подтянул голенища сапог и робко присел на кончик стула.

Геня, не оборачиваясь, машинально брел на гитаре. Парень посмотрел, как Семен вытаскивал из тазика пленку и вешал ее сушиться над батареей. Затем не торопясь, хозяйственно оглядел обстановку комнаты — новенький шкаф с зеркалом, шелковый абажур, радиоприемник, салфетки на тумбочках, пощупал простыню, толстое, мохнатое одеяло. Руки у него были грубые, в трещинах, с раздавленными ногтями.

— Культурно живете.

Семен подошел убрать с кровати разложенные мокрые фотографии.

— Тебя как звать? — спросил Семен.

— Тихон. — Подумав, добавил: — Чудров.

— Откуда ж ты возник, Тихон Чудров?

Парень усмехнулся, показывая, что он умеет понимать шутку.

— Колхоз «Путь к единению», Ольховского района.

— Явление, — задумчиво сказал Семен. — Как же этот путь тебя сюда привел?

— Еле схлопотал. Сам знаешь, какие порядки, — радуясь вниманию, сказал Чудров. — Меня на разнорабочего взяли. Обещают четыреста пятьдесят платить.

— Разнорабочим, — повторил Семен, — это тоже явление.

Чудров кивнул в сторону Геннадия.

— А он у вас что, хворый?

— Хворый. Приступ меланхолии, — сказал Семен.

— Застудился, значит, — и улыбнулся так, что Семен не понял кто над кем смеется.

Чудров отстегнул булавку на внутреннем кармане пиджака, достал бумажник, вынул из него два ключа, перевязанные бечевкой. Сперва он отомкнул висячий замок на чемодане, затем внутренний.

От этого лязга Геннадий повернулся, сел на кровати, обняв колени, и принялся смотреть, как Чудров вытаскивает из чемодана узелок, развязывает его, раскладывает на одеяле пожелтевший кусок сала, несколько яиц и кусок хлеба.

— Значит, по решению Совета Министров прибыл? — спросил Геннадий.

— Что? — удивился Чудров, колупая яйцо.

— Товарищ является крупным специалистом, — пояснил Геня, обращаясь к Семену, — наверное, его вызвал сюда министр.

— Какой там министр, — ухмыльнулся Чудров. — Поставили председателю литр, он и отпустил.

Геннадий задумчиво рассуждал:

— Очевидно, товарищ должен наладить у нас поточное производство.

Чудров удивленно заморгал белыми ресницами, но холодное лицо Геннадия исключало возможность шутки. Прожевав, Чудров пояснил наставительно:

— Разнорабочим меня взяли. А насчет чего другого не говорили.

Он ткнул яйцо в соль, откусил половину и зажевал, уставясь выпукло-голубыми глазами на Геню, не отвечая больше на его смешки. Ел он медленно, аккуратно подставляя под крошки ломоть хлеба. Круглые глаза его смотрели настороженно.

— Чувство юмора тебе, Чудров, недоступно, — сказал Семен. — Подойдем научно. Можешь ты объяснить, почему тебе не сиделось в колхозе?

— А чего там хорошего, — сказал Чудров с набитым ртом.

Геннадий встал, потянулся, стараясь не смотреть на Чудрова, чувствуя где-то рядом ту крайнюю точку, за которой терялась всякая способность сдерживаться и наступала яростная слепота, когда он мог бить чем попало, куда попало, ничего не соображая.

Мягко ступая разутыми ногами, в носках, он ходил по комнате, продолжая каким-то боковым зрением видеть Чудрова, его мерно двигающиеся челюсти, большие, блестящие от сала пальцы.

Стоило лишаться друга, коверкать его жизнь, ссориться с Верой ради того, чтобы приехал этот Чудров, развалился на Игоревой кровати.

— У вас тут как... не воруют? — стеснительно спросил Чудров, закрывая чемодан.

Геннадий подошел, достал из кармана проводочку, изогнул ее кончик, сунул на глазах ошеломленного Чудрова эту проводочку в большой висячий медный замок чемодана, повернул, и замок, звонко щелкнув, открылся. Таким же образом он одним гибким движением руки вскрыл и внутренний замок. Все это произошло за какие-нибудь секунды. Семен захохотал, видя, как на лице Чудрова медленно проступает ошеломление. Смех этот пробудил Чудрова, он кинулся к чемодану, притиснул крышку. Замок захлопнулся. Продолжая держать чемодан, Чудров опасливо засмеялся.

— Штукарь ты... Проволочкой, а?

Проволока полетела через комнату, стукнулась о графин на тумбочке. Геннадий поднес к глазам свои руки, посмотрел на ладони. Руки эти легли на железную спинку кровати и вдруг рванули ее так, что Чудров повалился вместе с чемоданом на пол.

— Сволочь, — сказал Геннадий, — вот такая сволочь, как ты, и разваливала колхозы.

Чудров вскочил, потянулся к Геннадию своими огромными руками, но отступил, испуганный бешеной гримасой на лице Геннадия.

— Ты не очень... Я вашего не замаю...

— Не замаю! — пронзительным от злобы голосом передразнил Геннадий. Подступив к Чудрову вплотную, дыша ему в лицо, зашипел: — Деэртир! Паразит! Катись отсюда, кулацкая душа...

Сильные руки Семена схватили его за плечи.

— Что он у вас, порченый? — пяťясь от Геня, пробормотал Чудров. Краска пятнами возвращалась на его вздрагивающие щеки. — Ты чего обзываешься! — вдруг всполошился он, по-мальчишески задрав подбородок. — У меня брата в партизанах убили. Сами вы кулачье! Наш хлеб едите, маслом мажете. У вас тут булки да сахар в каждом ларе, — он схватил недоеденный кусок хлеба, ткнул Геню. — На, на, кусни... овес да пшеница. Небось воротиться. Пожил б у нас, тоже побегал бы. Ишь, электричество горит. Простыни. Тепло. На лесозаготовки, поди, не гонят. Кино каждый день. А мы что, нелюди? Вам только положено? Мы тоже равноправие соблюдать имеем...

— Ах ты, шкура, — изумился Геннадий. — Еще философию подводит. Ты это электричество заработай. На готовое прибежал.

— Ты его больно заработал, — огрызнулся Чудров.

— Знаешь, кто спал на этой кровати? Техник. Ногтя ты его не стоишь. А мы его в МТС отправили из-за такой мрази, как ты. Развалил свой колхоз и драпаешь. А нам за тебя отдуваться надо. Так выходит? Понятно это твоим дремучим кулацким мозгам?

— И правильно, что послали, — вдруг сказал Чудров. — Пусть тоже попотеет. Что, он барин какой, жалеть? Это у тебя понятия нет. А ну вас всех, еще городской, — он презрительно осмотрел Геннадия. — Комсомолец, поди.

Семен расхохотался.

— Ай да Тихон! — И подмигнул Геннадию: «Что, брат, попался?»

Геннадий яростно заспорил, но на рыхлом, добром лице Семена оставалась довольная улыбка: «Эх, Геня, Геня, чего ж ты прикидывался, будто тебе не жаль Игоря?»

Принадлежа к той редкой категории людей, которые стыдятся своего торжества, чувствуя себя при этом чуть ли не виноватыми, Семен, спрятав улыбку, мирно сказал:

— Как же вы там, Чудров, дошли до такой жизни?

Чудров мрачно отозвался:

— Известно как. Раньше был колхоз богатый, а после войны поставили председателя пьяницу, и распустошил он...

— То есть как это поставили? — остановил его Семен. — Вы же сами выбирали.

— Не знаешь, как ставят? — Чудров с сожалением посмотрел на него. — Может, у вас тут и

выбирают своей охотой, а в нашем колхозе... коза тоже своей охотой шла, да только на веревочке.

В этот вечер Геннадий больше не промолвил ни слова. Чудров еще долго рассказывал про свой колхоз. С уборкой не справлялись, весной жгли клевер, а скотина дохла от бескормицы. Хлеба оставались гнить в поле, на трудовень получали по сто граммов, только на приусадебном участке и держались. Молодежь разъехалась. Те, кто остались, скучают: никаких развлечений. Он общал об этом с тоской и безнадежностью, как будто дела у них в колхозе и не могли идти иначе.

— Вот тут классовое сознание и проявляется, — степенно рассуждал Семен. — Ты против, а примирился и уехал. А известно тебе такое изречение: принципы не примиряются, а побеждают? Неизвестно. Допустим, у меня, рабочего человека, на заводе разные непорядки происходят. Переметнусь я, к примеру, на другой завод или в колхоз из-за этого? Ни в жизнь. Рабочий человек есть сам себе ответственное лицо... Мы в одну сторону только можем работать, чтобы вперед и лучше.

Они разговаривали рассудительно, без горячности. Семен уважительно выслушивал Чудрова, и от этого Чудров казался Геннадию еще более противным.

Следовало, конечно, вмешаться, оборвать вредные разговорчики Чудрова, навести порядок в его голове, разъяснить, что к чему, почему такие вещи творятся в колхозе, и что это — частное, преходящее явление, и что сейчас, когда партия круто поднимает сельское хозяйство, бежать из колхозов — хуже предательства. Но Геннадий молчал.

Он молчал, чувствуя, что настоящей была лишь его обида за Игоря и чувство вины перед заводом, перед Верой, перед всеми ребятами за то, что Игорь не отдал свое изобретение по «Ропагу».

Уже не первый раз он замечал в себе эту непривычную озадаченность перед трудной сложностью жизни. На заводе, в разговорах, встречах, во всем, что творилось кругом, отовсюду исходил горячий весенний свет перемен, разительных и мужественных. И в этом свете многие его понятия о жизни оказывались слишком простыми, беспечными и законченно благополучными.

Стоя у батареи, он разглядывал на свет сохнувшую пленку. Последние снимки — провода Малютиных. Сидят у них в комнате на чемоданах и тюках, рты у всех открыты, наверно кричат и поют. На подоконнике так и осталась корзина с астрами, которую девчата притащили на свадьбу. На улице прощаются с Игорем Леонид Прокофьевич и Юрьев. Черные лица, белые волосы, черный снег и белый автомобиль. А у Логинова черное лицо и волосы тоже черные. Это потому, что они седые. Все не так, как на самом деле. Все, все не так, и Логинов оказался другим. То есть, на-

оборот, на самом деле Логинов был все эти годы не тем, за кого принимал его Геннадий.

С ревнивым раздражением Геннадий слушал добродушный басок Семена. Ему ничего не стоило сразить Семена — видал, какие дела бывают в колхозах, — значит, мы правильно сделали, послав Игоря... Он повторил этот довод еще и еще раз, прислушиваясь к себе. Ловко. Удивительно ловко он мог извлекать правду оттуда, откуда ему было выгодно извлекать ее! Как сказал этот Чудров? Штукарь?

Когда Семен читал письма от родных из Старой Руссы про то, как люди с ночи становятся в очередь за хлебом, Геня доказывал, что в этом виноваты местные головотяпы. Когда Игорь начинал нить насчет жилья, Геннадий перечислял ему великие стройки, каналы, гидростанции и показывал фотографии высотных домов. В конце прошлого года на заводе только-только начали осваивать новое производство, как пришел приказ главка: новый заказ снимается. Оснастка, подготовка — все полетело. Геня возмущался вместе со всеми: ухнула премия, снова менять моторы и проводку... Но тем не менее он посчитал своим долгом оправдывать главка, у которого имеются, очевидно, какие-то особенные, государственные соображения. Как же, ему казалось, что он защищает советскую власть. А потом приехал на завод министр и признал, что спланировали безобразно, что рабочие правы и никаких оправданий главку нет.

Но ведь было и другое, и этого, другого, было куда больше. Взять тот же заказ двадцать шесть ноль один, над которым комсомол принял шефство. Никогда еще завод не брался за такие мощные насосы. Игорь, тот уверял, что на нашем оборудовании ничего не получится. Лучшие английские насосы такого типа не дают подобных показателей. А спустя два месяца на испытательном стенде все любовались безупречной работой опытных образцов. Геннадий даже заулыбался, вспомнив, какое ликование царило тогда, обнимались, целовали сборщиков, качали Трофимова. Вот когда надо было пристыдить Игоря за вечное его недоверие. А Геннадию важно было лишь то, что он оказался прав. Разумеется, лучше верить и тысячу раз ошибаться, чем все встречать с недоверием... Но к Игорю нужен был особый подход, не такой формальный, как у Веры. Недаром на комитете ребята не очень-то поддерживали ее. Сейчас ребята по-другому подходят, вдумчивее, с плеча не желают рубить. И можно было как следует обсудить, не ставить райком перед фактом.

Конечно, по отношению к Вере Игорь поступил подло. Не поделиться с ней своим открытием — это просто гадко перед заводом. Как он мог пойти на такое? Ни себе, ни людям. Впрочем, Вера ему тоже насолила. Игорь — парень злопамятный, самолюбивый, вот он и отомстил. И Вере

и ему, Геннадию. Для Веры — Геннадий, понятно, соучастник во всей этой истории. Поди доказывай, что он ничего не знал. Не знал он, не знал он Игоря, и Семена не знает. Ничего он не знает. А ведь Семен прав: Игорь все же поехал. Почему он поехал? Испугался? Нет, не то. Игорь не из пугливых... Значит, дорог ему комсомол. Значит, если брать по самому главному разрезу, то он настоящий комсомолец. Но какой же он комсомолец, если он так вел себя на райкоме?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Сквозь трухлявую тесовую крышу, сквозь щелюсти, наполовину забитые фанерой окна в мастерскую залетал снег. Его хрупкая, узорчатая белизна мгновенно исчезала в жидкой, черной грязи, покрывавшей пол. Грязь шипела и всхлипывала, когда по ней, ухая, волочили на железных листах тяжелые детали.

Кранов не было. Автокаров не было. Вентиляторов не было.

Ярко-лиловый дым заведенных двигателей быстро забивал помещение до самых стропил и долго висел удушающе сладким, непроницаемым туманом. Где-то в этой лиловой полутьме стучали кувалды, просвечивали синие языки паяльных ламп, пробирались в узких проходах между машинами дочерна закопченные люди.

Душевой не было. Раздевалки не было. Отопления не было.

Мастерская, где ремонтировали тракторы, в сущности, представляла собой длинный бревенчатый сарай, местами покосившийся, подпертый пасынками. Рядом с мастерской чернели такие же ветхие сараюшки кладовых, жестяночных, сварочных, электростанции. Присыпанные снегом, по всему двору валялись старые блоки, ржавые колеса, торчали лемеха, бороны, искореженные рамы.

Забора не было, и двор незаметно переходил в поле. Проходной не было, и дорог не было, и не было охраны.

Первые дни Игоря не оставляло дикое, фантастическое ощущение, будто он очутился в восемнадцатом веке, на каком-нибудь старинном заводе. В кузнице, как двести лет назад, молотобойцы в очередь ковали кувалдами. На распатанных верстаках стояли заткнутые тряпицами бутылки с молоком. Тусклые пузырьки электрических лампочек походили на чадающие лампадки.

Поодаль от мастерских вдоль шоссе выстроилось несколько домиков, а кругом, сколько хватало

Ералаш какой-то! Всегда у Геннадия получалось так ловко и складно, а тут ни с того ни с сего все разъехалось, запуталось, и ничего не разберешь.

Он услышал, как Чудров глухо засмеялся.

— ...завернет оглобли. Про эту Коркинскую МТС слышали. Она в соседнем районе. Там похуже нашего. Ну, может, лето пожирует, а к осени в аккурат вернется. Об заклад могу биться... У нас таких шатунов перебивало много.

глаз, лежали молчаливые заснеженные поля, и над всем этим поднималось серое, древнее небо.

Директор МТС Виталий Фаддеевич Чернышев встретил Игоря с испытующей приветливостью.

— Ну, как мастерские? — спросил он. — Не нравятся? Очень рад, что не нравятся. Учтите, наша МТС самая отсталая в области. Надеюсь, через неделю вы сумеете приступить к исполнению обязанностей.

Сухой, с бритой головой, в безукоризненно отглаженном костюме, весь какой-то гладкокопченный, он вызвал у Игоря неприятное чувство церемонной связанности. У такого сухаря было бесполезно искать сочувствия, жаловаться на незнание тракторов.

Учитывая уверенность Чернышева прозвучала насмешкой. Судя по всему, нужны были не месяцы, а годы, чтобы из этой рухляди сделать что-то путное.

Незнание тракторов Игоря не пугало. Он любил технику. Любая незнакомая машина не страшила, а притягивала его новизной. Станки, моторы, машины вошли в его жизнь с детства неотъемлемой частью окружающего, так же как в жизнь деревенского паренька входят лес, поля, земля со всеми мудрыми и трудно-выразимыми законами ее бытия. Но он не представлял себе, как можно подступиться к этим машинам, как можно отремонтировать их, не имея под руками технологических карт, сварочных автоматов, гидродъемников, пескоструев, без всего слаженного, культурного заводского аппарата, где есть конструкторы, инструментальщики, нормировщики.

Как видно, никто здесь над этим даже и не задумывался. Люди здесь несколько не походили на заводских: Они толковали о надоях, отелах, они держались как временные постояльцы, их не возмущала грязь, захламенность, ломаные тиски, отсутствие механизации. Они двигались неторопливо, подолгу курили, сидели; счет здесь велся не на минуты, а на дни.

Казалось, никому не было дела до Игоря. Он неприкаянно слонялся, с тоской и отвращением смотря, как кто-то, беспощадно орудуя кувалдой, насаживал подшипник.

Никто к нему не обращался. Он мог быть здесь, мог и не быть.

Единственный, кто явно обрадовался его приезду, был главный инженер Писарев. Но и это было совсем не то, о чем мечтал Игорь.

Писарев приехал в Коркинскую МТС несколько месяцев назад, почти одновременно с Чернышевым. Проектировщик электромашин, типичный расчетчик, Писарев всю жизнь провел за столом, в проектно-институте. Тоня, которую Чернышев временно определил на место ушедшего в отпуск диспетчера и которая со свойственной ей общительностью быстро перезнакомилась со всеми служащими, рассказала, что жена Писарева не захотела с ним ехать, она осталась в Ленинграде с четырехлетней дочкой, и что Писарев очень тоскует по ним и даже иногда запивает.

Входя с Игорем в мастерскую, Писарев робел и съеживался. Очки его запотевали, он поминутно снимал их, протирал, и в его больших близоруких глазах росла страдальческая растерянность. С какой-то суетливой готовностью он соглашался со всяким, кто на него как следует нажимал. Там, где речь шла не о чисто технических вещах, он становился по-детски беспомощным, не в силах был ни сопротивляться, ни отказывать, ни заставлять. Жалостливо улыбаясь, Писарев покорно поддакивал, высокий лоб его покрывался легкими каплями пота. Как ни странно, его любили и уважали. Любили, должно быть, за то, что он избегал вмешиваться в дела мастерской, любили той снисходительной, покровительственной любовью, какой любят в деревне чудаков. А уважали за редкие способности. Разумеется, он не успел за эти месяцы изучить все марки машин, но он их поразительно чувствовал, он обладал абсолютным чутьем машины, взаимосвязи ее частей, ее кинематики. Сидя у себя в конторе, Писарев мог со слов тракториста определить причину неполадок любого мотора.

Занимался он проектом строительства новой мастерской, оборудованием ремонтных летучек.

Он развернул перед Игорем листы с расчерченными схемами, таблицами перехода на круглогодичный ремонт. Тонкие, нервные пальцы его быстро обегали контуры будущей мастерской. Разговор зашел об электрооборудовании, и Писарев преобразился. Нервная торопливость движенья исчезла, вдохновенная влюбленность выпрямила его тонкую, будто прозрачную фигуру, придавала спокойную уверенность жестам, высокому голосу.

Да, Писарев был, несомненно, незаурядный инженер. Игорь почувствовал это по остроумно экономным схемам электростенда, по компоновке электростанции, и даже ему, малосведущему в тонкостях человеку, бросилась в глаза блестящая

простота решения, простота, великую цену которой он уже знал.

— Администратор из меня плохой, — признался Писарев. — Мне легче новый двигатель рассчитать, чем вытеревить из снабженцев какие-нибудь прокладки.

Пальцы его благодарно и робко коснулись руки Игоря.

— У меня с вашим приездом тяжесть с плеч долой! Я понимаю, нехорошо все на вас перекладывать, но я буду помогать чем могу... Вы человек заводской. Вы требовательный... — Писарев обезоруживал Игоря нелегкой откровенностью, признавая собственную слабость и стыдясь ее.

Он возбуждал жалость и доброе сочувствие, которое как-то согрело Игоря. Все же есть хотя одна душа, которой он нужен, которая ждала его. Теперь было ясно, что надеяться на чье-нибудь руководство не приходится. Он должен действовать один, совершенно самостоятельно, и эта самостоятельность угнетала его непривычной, пугающей ответственностью.

Первые же его попытки вмешаться в жизнь мастерской кончились неудачей. Зайдя к себе в конторку, где стояли замасленный дочерна дощатый стол, за которым в обеденный перерыв резались в «козла», длинные скамейки вдоль стен и шкафчик с бланками нарядов, он увидел трактористов во главе с бригадиром Саютовым. Они сидели вокруг печки, грелись, дымили папиросками. Игорь спросил, почему не работают.

— Балансиров ждем, — пояснил Саютов.

Игорь предложил пойти помыть моторы, сваренные у ворот. Саютов удивленно поднял брови.

— Так то ж не наши.

— Ну и что ж?

Саютов внимательно посмотрел на него.

— А то, что у нас каждый себе делает.

— Неправильно. Ломать надо этот порядок.

Сочные, веселые губы Саютова открылись в смешливой улыбке.

— А у нас каждый новый начальник что-нибудь ломать начинает. Уж и ломать-то нечего.

Все засмеялись, выжидательно смотря на Игоря.

— Ничего, у вас тут дров наломать еще можно много, — отшутился он.

Ему улыбнулись недоверчиво и снисходительно: хвались, хвались, а моторы мыть нас все же не послал.

Он вышел во двор, зашагал по тропке в поле. Сухой снег, шурша, струился по насту. Вскоре этот мягкий шорох остался единственным живым звуком среди белых просторов.

Если им самим наплевать на свое хозяйство, то ради чего он поехал сюда, ломая свою жизнь?.. Лучше бы он остался на заводе. Там он хоть нужен. А тут... никто ни о чем не думает. Тупое равнодушие. Безразличие. Лодыри. Если б не машины, — вот за что было обидно!

Комбайны, льноагрегаты, сеялки, картофелесажалки, ремонтные летучки, жатки, машины, приписанные к мастерской, и машины чужие, толпа машин, новеньких, дорогих, присланных только в прошлом году. — все они стояли под открытым небом, вмерзнув в осеннюю грязь, покрытые толстой коркой наледи, протягивая свои истресканные, подгнившие за зиму деревянные части с облезлой краской, болезненно скрипели расшатанными, желтыми от ржавчины колесами, забитыми грязью подшипниками. Игорь, который вот этими руками сам нарезал винты, вытачивал втулки, делал шестерни, который знал труд, вложенный в каждую деталь, труд токарей, сборщиков, конструкторов, контролеров, волнения и неприятности вокруг каждого малейшего отклонения от чертежа, чуть нарушенных размеров, небрежной окраски какого-нибудь щитка, привыкший к заводскому порядку, — он не мог видеть без боли эти искалеченные, изуродованные равнодушием машины.

Принимая дела у бывшего начальника мастерских Анисимова, Игорь заговорил было о порядке хранения машин.

— Хоть бы ремни сняли с комбайнов.

— Вот вы и научите нас хозяйевать. Навесик поставьте, — крикливо отвечал Анисимов. — Только крыть чем будете? Дипломчиком своим?

Они стояли в мастерской. За соседним верстаком оборвался визг пилы по железу. Маленькая, сторожкая тишина окружила их.

«На кой черт я сунулся, что мне, больше всех надо?» — досадливо спрашивал себя Игорь, глядя на выжидательно собранное мясистое лицо Анисимова.

«С какой стати это я должен больше беспокоиться за их собственные машины?»

И все же он насильно улыбнулся миролюбивой улыбкой. Он решил все стерпеть, лишь бы не оказаться чужаком среди незнакомых людей, с которыми предстояло жить и работать. Стоит немного приневоливать себя — и на все можно смотреть спокойно, издалека. Ему хотелось сдружиться с ними, даже с Анисимовым, грубым, постоянно ругающимся, всегда чуть подвыпившим; стать товарищем этих чумазных парней, как было на заводе. И он улыбался, поддакивал, уступал, не стеснялся вслух завидовать их знанию машин.

— Определите, Тихон Абрамович, вы в этом деле профессор, — обратился он к Анисимову, когда при обкатке вышедшего из ремонта трактора застучал двигатель. — В чем тут причина?

Наклонив растрепанную седоватую голову, Анисимов долго вслушивался, потом, хитро сморщив утиный, сизый носик, заставил Игоря признать в своем невежестве. Вот она, практика. В книжке разве стук передашь? Слышать надо. Тут особое ухо надо иметь.

И Игорь признавал свое невежество, чувствуя

зависимость от Анисимова и втайне презирая себя за это чувство зависимости.

— Вкладыши стучат, — наконец изрек Анисимов.

— Вкладыши? — Игорь обратился к бригадиру Саютову. — Ведь вы ремонтировали двигатель?

Тот, глядя на Анисимова, пробормотал:

— Такие вкладыши дают.

Игорь не вытерпел:

— Как же это так, товарищи, надо выяснить, кто напортил. Что смотрит контролер?

Анисимов тяжело похлопал его по плечу.

— Оплошка вышла. Бывает. Недосмотрели. Ребятам тоже мало радости ковыряться. Мой совет вам — не ищи виноватого: сам виноват будешь.

— А что ж делать?

Анисимов усмехнулся:

— Пусть разбирают, да поскорее. Нарядик им в половину выпишите, чтоб не обижать и чтоб не баловать, и все обойдется.

Для Игоря подобная сделка выглядела кощунством, нарушением казавшихся ему незыблемыми устоев производства.

Сгиснув зубы, он смотрел на Саютова, который, постелив на грязь старый ватник, подлез под трактор, на черные ледяные сосульки, свисающие с кабины, на армейский, весь в масляных пятнах китель Анисимова, с дырочками и вдавленными круглыми следами орденов; тракторист, свесясь из кабины, жадно досасывал сигарку, ждал.

Игорь опустил голову.

— Ладно, — сказал он, — разбирайте.

Он сделал вид, что благодарен Анисимову за совет.

Постепенно враждебная опасливость Анисимова исчезала, уступая место покровительственному: «Ну что ж, если ты такой сладенький, тогда, может, и уживемся».

У Тони были свои разочарования.

Клуба МТС не имела, и когда раза два в месяц привозили кинокартину, то ее показывали в большой, похожей на амбар комнате общежития. Продукты покупали в ларьке, который торговал почему-то только три часа в день. На базар приходилось ездить в районный центр Коркино, за двенадцать километров. От Коркина до железной дороги было тридцать километров.

Тоня ни на что не жаловалась, изо всех сил стараясь развлечь Игоря. Тащила его гулять. Шумно восторгалась просторами заснеженных полей, где ясные, непрестанно изменчивые краски, расцветивали и снега и самый воздух, свежий и чистый, как ключевая вода.

Здесь все было простым и огромным. Сонное молчание земли, ледяное солнце, луна, огромное небо. Тоня отвыкла от такого большого неба, —

там, в городе, оно было далеко наверху, тесное, незаметное.

Местами на горизонте в ясную погоду легкими облаками выплывал заиндевелый лес. Несколько старых елей стояло вдоль дороги к мастерской. Темные, неподвижные, они высились подобно стражам тишины. Тишиной было все — низкое, серое небо, нетронутые снега, плотная чистота воздуха. Дом был окутан этой спокойной тишиной.

Оказывается, существовал огромный мир, о котором они до сих пор знали только понаслышке и который так бы и остался для них далеким и непонятным, если бы они не приехали сюда.

— Да, здесь очень интересно, — весело соглашался Игорь и мысленно с горечью спрашивал себя: «Зачем мы приехали? Зачем меня послали сюда? Помогать? Но что ж им помогать, если они сами не хотят...» Нелепость его положения приводила его в отчаяние, — они будут покушаться, посмеиваться, а он должен волноваться, разгребать всю эту ихнюю грязь. Черта с два! Не обязан! Пусть все идет как шло.

Несколько домиков МТС сиротливо сбились вдоль узкой ленты шоссе, посреди пустой и плоской равнины. Лишь вдали виднелась маленькая деревня Ногово. Бесшумно падал снег, заноса узкие, серые тропки, дома нахлобучивали снежные шапки, сумерки затопляли комнату, обступая со всех сторон трепетный желтый круг света керосиновой лампы. И тогда одиночество угрожало заглядывать в окна, посвистывало в трубе, подбиралось к самому сердцу. «Надо закрыть глаза и стать таким же, как все». Утверждая себя в этом решении, он, вместо успокоения, испытывал тревогу.

Внутри у него словно прошла трещина, расколовшая его надвое — на того, заводского человека, который возмущался и страдал от всего, что творилось кругом, и на другого, который хотел умело и спокойно ладить с окружающими людьми и добиваться их дружбы.

Неизвестно, чем бы кончилось это, если бы не приемка механического отделения.

Здесь среди привычного шума станков Игоря окружило до боли родное. Это был воздух, пахнувший горячей стружкой и машинным маслом, не едким и горелым, какое было в тракторах, а нежным, почти душистым, хранимым памятью о заводе. Это было прикосновение к блестящим, всегда по-живому теплым штурвалам, плавно ходящим под рукой. Это было особое, доносимое через шестерни и резцы к кончикам пальцев ощущение податливой мягкости металла.

Два старых-престарых токарных станка разваливались на ходу. Третий был красавец «ДИП» последнего выпуска, но когда Игорь опробовал его, оказалось, что самоход не включался, шпиндель бил, в коробке скоростей — шумы, отверстие

для люнета заросло грязью, на вилках горели латна ржавчины.

— Это откуда? — спросил он у токаря.

— А тут, как потеплеет, крыша протекает. Игорь сузил глаза.

— За кем станок закреплен?

— А ни за кем, — сердито отвечал токарь. — У нас все станки беспризорные.

На Октябрьском было всего четыре таних станка. Игорь помнил, с каким трудом выпросили их год назад в министерстве. К ним поставили лучших токарей. С этими станками нянчились, наглядеться на них не могли.

— Что же вы, братцы, делаете? — с тоской сказал Игорь, пробуя сдержать себя. — Ведь это станок первого класса. На нем микронную точность брать... А вы до чего довели! Так изгадили... Теперь на нем только обдиркой заниматься. Убийцы вы...

Он избегал смотреть на Анисимова, обрушивая все свои обвинения на Мирошкова, молодого долговязого токаря.

— Самые что ни на есть убийцы, — неожиданно согласился Мирошков.

Смуглое лицо его с ястребиным носом заиграло хищным весельем.

— Насчет крыши заявляли мы Тихону Абрамовичу и фундамент просили заделать. Но у Тихона Абрамовича идея есть — он станки хочет закалывать, как телят, холодом. Трактор может работать в поле, ну и станок должен на улице тоже действовать. Свежий воздух полезен... Точно я информирую? Что молчишь, Петровых? — подмигнул он пожилому токарю в длинном сером халате.

— Заткнись, умник! — властно прикрикнул Анисимов. — Он думает, завод ему тут. У нас первое дело — тракторы ремонтировать, а не ваши станки. Вертится, и ладно. Вот новую мастерскую построят, там будешь шиковать.

Говорил он начальственно, как будто по-прежнему руководил мастерскими, а все остальные, в том числе и Игорь, подчинялись и будут подчиняться ему.

Осторожно подошел и Петровых, благообразный, мягкий, напоминающий своей реденькой рыжей бородой и задумчивыми, часто моргающими глазами каких-то виденных Игорем в кино дореволюционных интеллигентов или духовных лиц. Мирошков вынул портсигар, стал закуривать. Подошел третий токарь. Все трое ожидающе смотрели на Игоря.

Он поглаживал штурвал «ДИПа». Сколько споров происходило, когда распределяли их между цехами!

— Нет, Тихон Абрамович, так не пойдет, — сказал Игорь вдруг. — Станки гробить я не дам. И так уж вы довели их... Когда еще там мастерскую выстроят!

— Ах вот какое у вас мнение, — сказал Анисимов, не спуская с Игоря черных глаз. Он вытащил из портсигара Мирошкова папиросу, прикурил, жадно затянулся и, пересыпая слова ругательствами, заговорил все быстрее и громче, хмелея от обиды, от несправедливости. — Грязи испугались? Вы на тракторе поработайте — узнаете, что такое грязь. Пахали мы без ваших микронов и будем пахать. А тут, конечно, лихо можно командовать. Плох вам стал Анисимов. Образования нет. Когда тут разор был, тогда диплома не спрашивали. Рабочий класс мы знаем, он для нас станков не пожалеет... Вот пять лет назад чего-то мы про микроны ваши не слышали. Теперь, когда дорожку вымостили, и дурак пройдет. Кому микрона нужна, пусть катится в город. Десяносто семь рубликов билет с плацкартой. Ауфидерзеён. У каждой пташки свои замашки, да только этот квас не про нас.

Он рванул на себе китель, обнажая грудь, заросшую черно-седыми волосами, потное лицо потемнело.

— Вам известно, сколько стоит такой станок? — начал Игорь, все еще пытаясь сдержаться. — Где там... Ничего вы не смыслите в станках. Да он умнее вас, он работает, а вы болтай. Нашли чем похвалиться — грязью! — Он сунул руки в карманы, покачиваясь на ногах, прищурился и зацедил сквозь зубы с тем особенным презрительным вызовом, какой умеют вкладывать в свои слова заводские парни: — Не по душе, значит, вам заводские порядки? Ничего не попишешь. Придется подшабрить вас. Все, все будет здесь, как на заводе. Надеюсь, я вам в рот глядеть стану? Не для этого я сюда ехал... — Он вдруг услышал себя и понял, что все его с таким трудом налаживаемые отношения, все его надежды на мир, на спокойное житье — все это летит, опрокидывается, и решил остановиться, обернуть весь разговор в шутку. Но вместо этого сказал жестко, непримиримо: — Так не пойдет. Нет, этот номер со мной не пройдет! Надеются новые станки выпросить, подоить государство? Благо сейчас такое внимание к вам — значит, бери, хватай. Нет, будем на этих станках работать. А вам, товарищ Мирошков, не стыдно? Рабочий человек, и нет твердой позиции. Мало ли что начальник, а если начальник в этих вопросах на уровне зубила?..

Он словно взмыл вверх, скинув прочь накопленную за эти дни тягость смирения, зависимости, подлаживания, страха. Это была отрадная, все искупающая легкость. Нет, он не даст в обиду свои станки, здесь он хозяин, здесь он у себя дома. И другие машины он тоже сумеет защитить. И как бы он ни бранил токарей, он видел по плутоватым глазам Мирошкова, по степенным замечаниям Петровых — они тоже довольны. Они будут, конечно, ворчать, выискивать отговорки,

но они довольны. Они признали его право требовать. Мирошков целую речь произнес:

— Я сам на заводе вкалывал. Там секунду сэкономишь. Бывало, ругаешься — план невозможный, нормы. А теперь вспомнишь — стыдно. Здесь план один: шалтай-болтай, скреби затылок. Только настроил — снимай, другое ставь. А то бегаешь целый день, работу просишь. От такого порядка и работа не в радость и отдых не в пользу.

Анисимов теперь отбирался от всех тронх; вспоминал какие-то заявки, куда-то он их подавал, что-то ему обещали, иногда он срывался на крик, но быстро умолкал и, просыпав табак на салазки станка, торопливо рукавом смахнул крошки на пол.

— Станки не принимаю, — заключил Игорь. — Вычистите, смажьте, тогда посмотрим.

— А по мне хоть ничего не принимай, — огрызнулся Анисимов, уходя.

Игорь только улыбнулся. Он понимал, что станки будут приведены в порядок.

Тоню это столкновение встревожило. Игорь не подал виду, но где-то внутри уже почти раскаивался в своей резкости. Стоило ли ссориться и наживать себе врага?

Занятый разъездами по колхозам, директор МТС Чернышев появлялся в мастерской редко, всякий раз смущая Игоря своим городским видом: велосипедная шляпа, черное пальто, светло-зеленое кашне, из-под которого выглядывал белоснежный воротничок с галстуком. Единственное, что нарушало городской вид, — это высокие сапоги, всегда непонятно блестящие, как будто грязь дорог и грязь мастерской не приставала к ним. Сам Игорь ходил в стеганке, в штанах из чертовой кожи, стараясь ничем не отличаться от трактористов. Ему было неловко за Чернышева, ему казалось, что окружающие должны украдкой подсмеиваться над неподходящим городским обликом Чернышева, над его подчеркнутой, часто церемонной вежливостью.

Обнаружив повторный ремонт «НАТИка» в бригаде Сакутова, Чернышев терпеливо выслушал объяснения бригадира и, подумав, сказал:

— Поскольку мотор стучит, очевидно вкладывши не тех размеров. Выяснили вы, какие там поставили вкладыши и кто их ставил?

— Разве у нас разберешься? — сказал Анисимов. — Да и поздно теперь.

— Кто разрешил перебрать мотор?

— Товарищ Малютин.

— Не установив причину брака?

— Да, — помедлив, сказал Игорь.

Чернышев посмотрел на него, потом на Анисимова.

— Странно. Мне казалось, у вас, Игорь Савельевич, будет иное отношение к подобным вещам. Ну что ж, на первых порах ограничимся предупреждением. Впредь, Игорь Савельевич, прошу выяснять, кто виновник брака, и взыскивать с

него стоимость переделки. Если виноватых не найдется, то, простите, мне придется делать начет на вас.

Ровный, спокойный голос Чернышева легко прорезал шум мастерской. «Костяшка, а не человек, — с тоскливой злостью подумал Игорь. — Мороженный сухарь».

Он собирался ответить Чернышеву что-то резкое, объяснить с холодным достоинством. Но Чернышев, договорив, повернулся и, аккуратно обходя желто-ржавые лужи на полу, ушел, прямой, невозмутимый. Сакутов покачал головой, сдвинул набок трех и сплюнул окурок под ноги Анисимова.

— Тыфу ты, какая несусветица! — И по тому, как он это сказал, Игорь почувствовал, что Сакутов считает себя в ответе за выговор, который получил Игорь. Вот и хорошо, теперь Игорю станет посвободнее, уразумеют, что он требует не из блажи или придирчивости, а потому, что с него требуют, и он отвечает за порядок своим карманом.

Вечером, разговаривая с Тоней, он вдруг запнулся и замолчал.

— Ты что? — насторожилась она.

Игорь, краснея, пожал плечами.

Ему пришла в голову мысль: а что, если Чернышев умышленно сделал ему публичный выговор, желая помочь?

По мере того как Игорь вникал в работу, в нем росла злость. За разукомплектованные, изуродованные машины, за ералаш в кладовых, где дорожные запчасти валялись как попало, где ничего нельзя было отыскать и трактористы рылись часами и, отчаявшись, воровали друг у друга детали, инструменты, тащили домой, про запас, не доверяя складу, мастерской. Он не мог спокойно смотреть, как из-за крохотной трещины волокли на свалку головку блока, потому что сварщик не имел нужных электродов с обмазкой.

Не хватало мощности электростанции, не хватало инструмента, резцов, крепежа, не было сортовой стали, сводили на стружку толстые прутки... Открытия одно другого горше сыпались на Игоря со всех сторон, подавляя своей неисчерпаемостью. Казалось, им не будет конца и края; казалось, всей жизни не достанет, чтобы как-то привести в порядок это запущенное хозяйство.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Расставляя вещи, Тоня уронила зеркало. Оно треснуло странными паутинками-трещинками. Тоня заглянула в него; лицо ее там, в стеклянной глубине, перечертили тонкие морщины. Тоня показала себе язык и поставила зеркало на пол. В полураскрытую дверь из сеней протиснулся черный, лохматый пес, его звали Архипка. Он подошел к Тоне, облизал ей руку, легонько куснул за ногу. Пес был стар, шерсть его свалилась, а на хвосте повылезла, глаза у него были красные и

слезились. Он лег перед зеркалом, посмотрел на себя и отвернулся. Тоня засмеялась и решила, что все будет хорошо. Она имела свои приметы и твердо верила в них. Все приметы ее были счастливые. Ей везло с детства, везло постоянно, несчастья и беды упорно обходили ее, и незаметно для себя она привыкла принимать свою удачливость не как подарок, а как обязанность судьбы.

Было нечто само собой разумеющееся в том, что к их приезду в МТС диспетчер ушла в декретный отпуск, и Тоня заступила ее место — наиболее подходящее: там не требовалось специальных знаний, работа была живая, веселая, самая что ни на есть по ее характеру.

Диспетчерская помещалась в конторе с бок с кабинетом Чернышева. В ней всегда было тепло от большой, во всю стену кирпичной печки, до черна затертой спинами шоферов и трактористов. Над столом висели графики хода ремонта, работы машин. С утра начинались звонки из колхозов. Тоня принимала сводки, заявки, потом по радию передавала сведения в областное управление. Она переписывала всевозможные рапортчики под копирку в пяти экземплярах; затушевывала клеточки в графиках; оформляла шоферам путевки; вела штук десять всяких журналов.

В диспетчерской, несмотря на строгие запреты, постоянно толкался народ. Ожидая Чернышева, заходили председатели колхозов, забегали погреться трактористы, приносили бумажки на подпись заправщицы. Здесь обсуждали все местные новости, и Тоне нравилось быть в центре этого шумного, многолюдного перекрестка. Она научилась покрикивать на шоферов, начальственным тоном передавать распоряжения и с удовольствием укрывала Чернышева от наезжих уполномоченных. Легко и радостно вошла она в круг эмтээсовских страстей, привлекая всех своим участливым любопытством.

Через пустынные и заснеженные поля к ней стекались заботы и волнения людей о льне, о болезнях лошадей, о суперфосфате — о вещах, о которых она понятия не имела. Ее окружали новые люди в полушубках, в пахнущих дегтем сапогах, непривычный говор; непонятные слова возбуждали ее новизной причастности к этому незнакомому миру.

Председатель колхоза «Парижская коммуна» Пальчиков, молодой агроном, присланный сюда полгода назад, спорил с Малининым, председателем другого колхоза.

— Тонечка, нет, вы подумайте, Тонечка! — кричал он. — Ведь он же коммерсант. Он предприниматель. Организовал производство клюквенного сока, возит в город елки продавать.

— Раков ловлю, пивок заготавливаю, — довольно посмеиваясь в рыжепивную бороду, добавлял Малинин.

— Раков ловит! А хлеб кто будет растить? А я разве не могу пивок заготавливать?

— Не можешь, — хохотал Малинин. — Тебе сознание не позволит.

Он серьезнел и, приставив к груди агронома землисто-черный палец, похожий на дуло пистолета, говорил:

— У меня две куры дают доход такой же, как корова. Деньги мне нужны, хоть через раков, хоть через... — И он ругался, не стесняясь присутствия Тони.

Прибегала Леночка Ченцова, трактористка, тоненькая, упруго-верткая, точно рыбка, шепотом справлялась, когда вызовут из командировки Ахрамеева, посланного на ремзавод за электродами.

— Вы, Тонечка, только не говорите ему ничего, — краснея, просила она.

Над головой Тони висел смешной старинный телефон в деревянном ящике с ручкой, а рядом на столе подмигивала красным глазком и уютно гудела умформером новенькая роскошная радиостанция. Под вечер Тоня переключала ее на прием и ловила Ленинград.

Точно в три часа Тоня приносила бумаги Чернышеву на подпись. Кабинет Чернышева был, пожалуй, единственным местом, где всегда стояла сухая, прохладная тишина, пахло травами, разложенными на пустом, чистом столе. Работать с Чернышевым было приятно и трудно: он не раздражался, не язвил; наверное, поэтому малейшее недоумение и досада в его голосе, в его жестах воспринимались остро, как строгое предупреждение. Он никогда ничего не откладывал, решая все разом и бесповоротно, от него исходил напряженный рабочий ритм, исключая ненужную болтовню, все лишнее, медлительное... Однажды Чернышев спросил, не скучает ли Тоня по городу. Тоня от неожиданности растерялась, но тотчас трянула головой: нисколько, тут так интересно... Чернышев ничего не сказал и едва слышно вздохнул, а может быть, ей это показалось.

Контора МТС была совсем близко от дома. Тоня успевала несколько раз на дню заскочить домой — приготовить обед, купить хлеб, иногда даже сбегать в Ногово за молоком и картошкой. Никто особенно не контролировал ее, не существовало ни табелей, ни проходных, где бы требовали пропуск на право выхода в рабочее время.

Передав сводку, Тоня бежала растапливать плиту. У дровяника на солнце дремал Архипка. Заслышав ее шаги, он вздрагивал, брехал спросонок и, окончательно пробужденный собственным лаем, начинал кусать свой хвост. По крыльцу вперемежку с соседскими курами, звонко постукивая клювами, бродили тощие, крикливые галки. Из хрюкающей, жующей темноты раскрытого хлева пахло прелым навозом, и этот теплый, живой запах, смешанный с запахом талого снега, казался Тоне трогательным и чистым. Она научилась ловко зачерпывать воду в колодце, вертела скрипучий ворот, и зыбкое отражение ее лица поднималось из сырой глубины. Было жаль, что никто из

заводских подруг не видит ее сейчас — в сапогах, в белом шерстяном платке, идущую по блестящей ледяной тропке с ведром, полным студеного плеска.

Тоня никогда не жила в деревне. Острая новизна впечатлений настигала ее повсюду. От просторов распахнутого неба ей хотелось лететь. Впервые увидев петушиную драку, она присела на корточки от восторга. Вместе с Васей, пятилетним сыном Мирошкова, она вылепила снежную бабу с узким, мрачным лицом, хмурым наклоном бровей из еловых веточек и прямым носом, вырезанным из моркови. На макушке — старенькая кепочка. Тоня сдвинула ее набекрень, и сразу получилось похоже на Игоря.

— Ну, держись, дразнилище, — погрозил он и у самого дома посадил Тоню в сугроб. Она дернула его за рукав и повалила на себя; они барахтались, как щенки, и продолжали, фырча, толкаться и дома, пока Тоня не спохватилась, зашипела, показывая глазами на перегородку, за которой жили Мирошковы. Игорь досадливо нахмурился, и мрачная озабоченность вернулась к нему.

— Я договорился с Чернышевым, — сказал он. — Будем вводить табель и гудок.

— Табель? Номерки? — Тоня вытаращила глаза, потом засмеялась, потом притушила смех тревожным недоумением.

— Зачем тебе это? Тут такая буча поднимется.

— Хватит! Довольно с меня! — В нем взметнулось недавнее, еще не израсходованное возмущение. Сегодня, после недельного отсутствия, в мастерскую явился опухший от пьянства Анисимов. Вместе с Исаевым, молодым парнем, работающим на испытании насосов, они «отметили» перевод Анисимова на должность бригадира.

Игорь потребовал у них бюллетени. Анисимов расхохотался ему в лицо. Может быть, еще номерочки прикажете вешать?..

Никакого табельного учета в МТС не велось. На работу выходили кому когда вздумается: одни в восемь, другие в десять. По субботам уезжали домой с обеда, и многие возвращались только ко вторнику.

Выходка Анисимова истощила терпение Игоря. Уже знакомый хмель гнева и решительности понес его очертя голову, отбрасывая всегдашнюю рассудительную осторожность. Тут же при всех Игорь заявил, что табельный учет будет введен. С доской, с номерками. Опоздавшие будут считаться прогульщиками! Дисциплина, как на заводе!

На этот раз он не желал слушать никаких увещаний. Чего ждать? Пока он сам привыкнет со всеми этими безобразиями?

Вслушав его страстную речь, Чернышев довольно хмыкнул и, пожалуй, впервые за все время с любопытством осмотрел Игоря. Он смотрел на него выжидательно, как на весы, где на одну чашу положены решимость Игоря, его гнев, его воля, а на другую — все те препятствия и послед-

ствия его, наверно, преждевременного решения, о которых Игорь старался не думать.

— Ну, что ж, — наконец произнес Чернышев. — Если вы считаете нужным, действуйте. Будет, разумеется, скверно, если какие-то осложнения заставят нас отступить.

Игорь оценил деликатное ударение на слове «нас», но самолюбие мешало ему принять какую-либо помощь. Неужели он, приехавший сюда с дважды орденосного Октябрьского завода, сам не сумеет одолеть порядки этой живопырки?

Разговаривая с Тоней, он вдруг ощутил запоздалый приступ робости. И немедленно ошестинился. Больше всего он боялся показаться слабым в глазах Тони.

Слушая его встревоженно хвастливые угрозы, она резала огурцы и улыбалась. Чего он боится? Вызвать конфликт? Подумаешь, какие страсти. Ну скандал, ну и что?

Он сердито покраснел.

— С чего ты взяла, что я боюсь?

Улыбаясь, она положила ему на тарелку картошки.

— На худой конец выживут тебя из МТС. Что еще могут сделать? Уволят? Хуже не будет. Мы сюда не просились...

От ее слов стало легко и весело. В самом деле, чего ему бояться?

Пристыженно, неловко он притянул ее к себе, посадил на колени.

— Если бы не ты... я бы тут, наверное, запылился...

Серьезная уверенность, вложенная в эти слова, почему-то смутила ее. Она закрыла глаза, потерлась щекой о его волосы.

— Не успел бы, тебя б тут живо обкрутили с какой-нибудь знатной дояркой.

Она укусила его ухо, он прижал ее крепче, поймал губы, крепкие, солоноватые от огурцов, она почувствовала, что тоже прижимается к нему, оттолкнула, вскочила на ноги.

— Уходи, — сердито шепнула она.

Но когда он, виновато нахлобучив шапку, ушел в мастерскую, ей стало обидно от того, что он так легко послушался ее. Во всем виновата эта дурацкая комната с тонкой перегородкой, сквозь которую слышно все, что творится у Мирошковых. Она вспомнила Ленинград и, вздохнув, оглядела беленую мелом ненасытную печь, табуретки, дощатый, некрашенный пол, который приходится тереть песком и веником. Низкий тесовый потолок. Подвешенная на крюк керосиновая лампа. Глаза Тони невольно обратились в угол, где на чомодане лежал завернутый в пожелтевшие газеты абакжур. Всю дорогу она мучилась с ним: боялась помять карнас.

В диспетчерской ее ждало письмо от Кати. Из конверта выпало несколько фотографий, сделанных Семеном перед отъездом. Тоня внимательно рассматривала такие знакомые и такие далекие

теперь лица, и себя, и Игоря. Она шла по перрону под руку с Катей и Костей Зайченко. На ногах у нее были новые лаковые туфли. На голове маленькая фетровая шапочка с цветком...

Раздался телефонный звонок. Тракторист Яльцев просил прислать летучку, его «ДТ» застрял в дороге, испортился топливный насос. Потом позвонил Пальчиков, доложил, что планы полевой утверждены на правлении, и, отводя душу, пожаловался на Кислова из областного управления — нарушает установки ЦК, подавляет всякую самостоятельность колхозников, предписал, где что сеять, все до последнего гектара.

И оттого, что нечем было ни утешить, ни возразить Пальчикову, Тоне стало грустно.

— Вы не слышали, Тонечка, когда приезжает эстрада в район? — спросил Пальчиков.

Пальчиков, конечно, умудрится слетать в район, а для нее это целая проблема; надо, чтобы Игорь выпросил машину у Чернышева. В Ленинграде она месяцами могла не ходить в театр, а тут раз приехал ансамбль — нельзя пропустить.

По рации включился секретарь эмитэсовской комсомольской организации Ахрамеев, он сообщил, что трактор Яльцева нуждается в помощи. — Уже известно, — сказала Тоня. — Посылают летучку.

— Откуда известно? — обиженно спросил Ахрамеев.

— Яльцев сам звонил. Слышно было, как Ахрамеев откашлялся и, помолчав, строго сказал:

— Это я его просил позвонить... Так вы проследите. Иначе будете отвечать за неудовлетворительный срыв мероприятия.

Тоня выключила рацию.

— «Неудовлетворительный срыв», — вяло передразнила она.

Из окна диспетчерской видна была узенькая полоска шоссе, стиснутая снежными полями. Неуютными и скучными показались Тоне просторы голой равнины с ее пологими холмами и мелкими ложбинами. Нигде ни домика, вдоль канав торчали злой щетиной голые прутья кустов. Вечер серыми сумерками стекал с низкого неба. По шоссе, завывая, проносились редкие машины. На повороте их фары вспыхивали, надвигались, и Тоня чувствовала на лице скользящий свет, стремительный, как взмах крыла. Медленно оседала снежная пыль, и сумерки становились еще гуще.

Машины неслись мимо Тони, мимо конторы, мимо мастерских, и люди сквозь стекла кабин равнодушно скользили взглядом по этим маленьким, черным домикам, каких немало мелькало на пути. Тоня представила себя в машине, бегущее под колеса шоссе, свист ветра; интересно, что бы она подумала, если бы в окне какой-то конторы увидела девушку, смотрящую вслед...

Впервые со дня приезда сюда ей стало грустно.

Она продолжала писать, разговаривать деловито, энергично, в то же время не переставая прислушиваться к себе, пытаться понять, откуда возникает это тоскливое чувство. Казалось, оно сочится сквозь окно вместе со мглой этих пустынных, бескрайних полей, дикое и цепкое, способное затанцевать даже в этой теплой, всегда шумно-деловитой диспетчерской.

Пришла агроном Надежда Осиповна, громкая, веселая, и Тоня стала показывать ей фотографии и сговариваться о поездке в район на приезжую эстраду.

Басовитый, с хриплым клекотом гудок разбойно ворвался в полусонную тишину утра, помчался над полями к далеким деревням, проникая сквозь закрытые двери, сквозь окна, заставленные столетниками и синеголовыми примулами, докатываясь до Бакаревского леса, а там теряясь в плотных зарослях ольшаника и ельника. На кладбище со старой липы испуганно взлетали тощие, только что прилетевшие грачи; прижав уши, затаился линяющий беляк. Впервые слушали здешние места этот призывный железный голос.

Тоня, зябко кутаясь в накинутае пальто, вышла на крыльцо. Архипка приветливо дернул хвостом и снова встревоженно поглядел в сторону мастерских.

— Ничего, все обойдется, — сказала ему Тоня. — Не трать нервы. Между прочим, нам теперь тоже придется приходить вовремя. Гудим себе на беду, Архипочка. Хоть бы все скорее кончилось. Зачем так изводить себя? Ну, не выйдут, и бог с ними.

...Писарев прислушался, с трудом привстал. Голова была тяжелой, огромной, она как будто вмещала в себя всю эту холодную, неприбранную комнату, стол, на котором лежали книги, бумаги, валялся засохший хлеб, грязные ножи, в углу у печки на полу кипа журналов, а на ней грязные рубашки... Потирая лоб, Писарев встал, налил воды в закопченный чайник, но вспомнил, что вчера забыл купить керосин и чай вскипятить не на чем. Нехорошо. Нельзя так дальше жить. Надо взять себя в руки. Ради жены, ради дочери. Мало ли какие бывают в жизни передрыги. Он ни в чем не винил жену, он всячески оправдывал ее, — зачем ей ехать сюда, ей здесь будет тяжело. Думая о жене, он всякий раз видел ее красивые, тонкие пальцы, бегающие по клавишам пианино.

...Протяжный вой гудка оборвался, и сразу хлынули мелкие звуки наступившего утра, но теперь они словно были насыщены напряженным ритмом, и, подчиняясь этому ритму, Писарев торопливо оделся, ополоснул лицо под греющим железным умывальником. Он испытывал прият-

ное чувство освобождения от необходимости выбирать, сомневаться, что-то решать. Гудок был командой, а раз подана команда, надо ее выполнять. Писарев понимал всю убогость своей пассивной позиции, ему было стыдно перед Малютиным, но чем он мог помочь ему? Он ничего не понимал в табельном учете, во всех этих производственных распорядках и боялся в них вмешиваться. Он честно заставлял себя заниматься делами мастерских, и порой даже удавалось забыть, например составляя схему станка. И тем не менее всякий раз мысли его сносило к электромашинам, к проектам новых обмоток, новым способам расчета. Весь день Писарев с нетерпением ждал вечера, когда можно прийти домой и засесть за журналы, за свои расчеты, но стоило сесть за эти расчеты, как начинала грызть совесть: он не имел права заниматься посторонними делами, а эти обмотки здесь, в МТС, были делом посторонним.

Он приехал сюда ремонтировать тракторы и должен на время выкинуть из головы все, кроме тракторов и комбайнов. И он это сделает, он пересилит себя. Согласно судьба ведет, несогласного — тащит. Гудок тащил его, и он испытывал благодарность к этому принуждению и боль при мысли, что это принуждение всегда останется для него принуждением и у него никогда не достанет сил любить эту свою работу так, как ту.

...В Любичах выходили во дворы, удивленно прислушивались, шурились в сторону МТС, скрытой в жидкой полумгле мартовского утра. Ахрамеев, улыбаясь, шел по середине улицы. Последний год на флоте, в Кронштадте, он работал сварщиком, и сейчас гудок, весеннее утро, хрустящий ледок под ногами напомнили ему флотскую службу, побудку, и бодрящее ощущение подтянутости чеканило его шаг, поднимало голову. Он отмахивал руками с тем незабываемым флотским шиком, каким отличается строевой шаг балтийцев. Ахрамеев знал, что на него укладкой смотрят из-под опущенных занавесок, из полуотворенных дверей. И Лена Ченцова тоже, наверное, смотрит, а на людях и глазом не поведет. И это раздражало и забавляло его. Давай, давай, кто кого пересилит, кто первый обнаружит себя. Уж, во всяком случае, не он. И Ахрамеев шел, присвистывая, и ему хотелось грянуть какую-нибудь матросскую песню, оторвать с присвистом, как говорили на флоте.

— Ты, моряк, красивый сам собою, — пропел тоненький смеющийся голос.

Ахрамеев обернулся. У сарая стояла Ленка Ченцова, в одном платице, в высоких отцовских валенках, с лопатой на плече.

— Ты куда собрался в такую рань?

— Гудок слыхала?

— Ну и что с того?

— А то, что дисциплина. И нечего прикидываться. По-моему, комсомолка. Сознание надо иметь.

Странное дело, стоит ей первой заговорить — он обязательно начинает ей выговаривать, стоит ему заговорить — она примется насмешничать.

Он встал сегодня пораньше и решил сделать крюк, пройдя через всю деревню, до проселка, — посмотреть, как собираются на работу. Делал он это не ради Малютина, лично ему новый начальник мастерских не нравился: то подлаживается к трактористам, то кичится своим заводом. С Ахрамеевым, секретарем комсомольской организации, не считал нужным установить контакт. Тем не менее Ахрамеев отвечает за своих комсомольцев, поэтому он стучал в окна — вставай, поднимайся, рабочий народ.

Навстречу ему на санях ехал председатель колхоза Пальчиков. Полوزья розвальней пронзительно скрипели на бугристых, закаменелых колесах.

— Держись теперь, миряне! — крикнул Ахрамеев, махнув рукой в сторону МТС.

Пальчиков улыбнулся ему улыбкой заговорщика. Глаза его живо обегали то одну, то другую сторону широкой улицы, примечая мальчишек, криком подражавших гудку, заспанную молодуху, выглянувшую из сеней, огоньки, что загорались под козырьками надвинутых крыш из серой драпки, похожие на старые шапки с хлопьями беличьего меха.

«Славно дело, — думал Пальчиков. — Славно. Механизаторов прижмут, не будут болтаться, наших людей смущать. Колхозникам тоже сигнал. Теперь легче лодырям глотку заткнуть. Гудит, такой петух заставит подчиниться!»

— Давай, давай, милашка! — закричал он, привстав на колено и крутя в воздухе вожжой.

У Яльцевых первой услышала гудок хозяйка.

— Никан у тебя, в мастерских?! — крикнула она мужу.

Яльцев ладил латок на огороде. Он с вечера заточил новый топор; лопасть так и звенела, разбрызгивая с ольховой жердины тонкую витую щепу. Чтобы не таскать воду из колодца, Яльцев придумал сливать ее по длинному желобу до огорода, в железную бочку, а оттуда — разноси, поливай. Яльцев был мастер на всякие выдумки: ухват для хозяйки сделал на ролике, в погребе особые полки для картошки поставил, на своем тракторе приспособил прожектор, чтобы ночью работать. Дома у него имелся целый склад запчастей, и Яльцев чувствовал себя независимо. За зиму в эмтэзовских мастерских ему важно было лишь поднабрать детали, заменить мотор, а там все равно перед выходом в поле, в стане придется заново перебирать, налаживать, подгонять. К порядку этому он привык, и ему было непонятно, чего добивался новый начальник мастерских.

Услышав оклик жены, Яльцев выпрямился, наставил ухо, широкая улыбка осветила его лицо. И, пока не умолк гудок, он стоял улыбаясь.

— Ну и голосина! — восхищенно сказал он.

— Ты бы собирался, — сказала жена.

Яльцев задумался, потом облегченно вздохнул.

— Все одно кольца у нас не готовы. Токаря держат. — И он снова принялся тесать жердину.

...Бригадир Саютов приподнялся в постели, недовольно нахмурился.

Далекое звуки гудка заполнили дом каким-то нетерпеливым возбуждением.

— Ишь, новый начальник старается. — Он снова улегся на подушку, потянулся. — Повалился бы он в нашем общежитии. Неделю... Не раздвеваясь.

При воспоминании о жестких нарах общежития, прикрытых тощими, грязными тюфяками, его широкая деревянная кровать, стоявшая в избе Саютовых с дедовских времен, пропитанная снами и покоем, завешенная новым ситцевым, в синих цветах, пологом, показалась ему особенно уютной. В сенях позвякивало — должно быть, жена ставила самовар. От печи, у которой возилась теща, пахло кокорками, топленным молоком. На лежанке похрапывали малыши и тоненько попискивали цыплята.

— Ходишь чумазый, ни бани, ни поесть как полагается, — продолжал Саютов. Он откинул полог, помолчал, рассматривая строгое, осуждающее лицо тещи, ее поджатые, вытянутые веревочной губы. — Колхозник, он что, он у себя дома. А мы, ровно постояльцы, то во двор, то со двора.

— А что во двор, что со двора — одни ворота, — сказала теща.

— Это вы напрасно, Елизавета Прокофьевна, — обиженно усмехнулся Саютов. — Спишь, спишь, а отдохнуть не дают.

Не хотелось вставать и выходить из теплой избы, тащить с собой мешок с картошкой и снедью, ждать на шоссе попутки, снова на неделю разлучаться с молодой женой, с ребятишками, спать на полатах с промасленным ватником в головах. Выгадать бы еще денек, понедельник, как это делал до сих пор. Может, отступится новый начальник, погудит-погудит да устанет. Саютов не желал ему ничего плохого: Малютин поступал так, как должен поступать добросовестный начальник, — и хотя при Анисимове жилось вольготнее, Саютов осуждал Анисимова по старой крестьянской привычке ценить в человеке хозяина. Себя в бригаде Саютов считал хозяином полным и бесконтрольным. Необходимость вставать и бежать на работу по гудку возмущала его — гудок покушался на его самостоятельность. МТС была для него лишь местом, куда бригада его приводила машины на ремонт, откуда ему должны были привозить горючее и запчасти...

Он повернулся к стене, но сон не возвращался: Совесть тихонько грызла, скреблась по-мышьиному — бригадир... бригадир... Твердая подушка вертелась под головой. Он упрямо продолжал лежать, доказывая себе, что никто ему не начальник и он может лежать так сколько ему вздумается. Но после этого проклятого гудка домашняя тишина, и тюканье сечки, и цыплячий писк, и лязг ухватов звучали укором, нетерпеливым понуканием. И, лежа под душным пологом, Саютов злился...

...Лена Ченцова побежала в МТС напрямик, по тропке через поле, мимо старой кузни, с тем чтобы обогнать Ахrameева. Лед на Фенином ручье истончал. Лена на минутку остановилась, прислушиваясь, как плещется вода подо льдом. Она топнула каблуком — белые трещинки разбежались во льду. Скоро растает. Раньше, летом, вместе с мальчишками она ловила здесь на вилку налимов. Черные, усатые налимы жили под камнями и корягами. Она ловко шарила одной рукой, а другой держала наготове трехзубую вилку...

Нынешним летом она не сможет уже ловить налимов, потому что будет сидеть на тракторе — от этого она чувствовала к себе уважение.

Когда после курсов трактористов Лену поставили мыть грязные детали, она неделю проплакала. Работа была глупая, скучная, стояли вместе с Леной на мытье еще две женщины, но те хоть не были трактористками, а Лене было обидно. Если бы не мать, уехала бы она давно в город, поступила бы на завод. Сколько ее подружек за эти два года после школы поехали в город, кто на комбинате ниточном работает, кто на текстильной фабрике, одна так даже метро строит.

Лена никогда не была на настоящем большом заводе, он представлялся ей в виде бесконечного ряда станков, у которых стоят люди, нажимают на кнопки, управляя этими станками, и каждое движение людей строго рассчитано, и все на заводе движется ровно и быстро, подчиняясь какому-то умному порядку. Она мечтала о заводе, как о сказочном дворце, где, разумеется, не может быть такой нелепой работы, как мытье грязных деталей, где не надо скоблить щетками и старыми напильниками нагар и портить руки содовой водой.

Но сегодня, пожалуй, впервые, Лена бежала в мастерские с радостью. Звенящий, молодой крик гудка словно еще дрожал в воздухе. Он звал к себе, он был точно такой же, как на больших заводах, и Лене казалось, что она бежит на завод, пусть плохой, скособоченный, но все-таки это ее завод, он пришел к ней, на ее землю, на вот эту родную землю, исчерченную крестиками вороньих лап на снегу и уставленную зелеными крестиками сосен у спуска к ручью, где она ловила налимов. У нее есть свой завод, и ей не нужно ехать ни в какие города. Она вдруг поверила в картинку, ко-

торую показывал на комсомольском собрании главный инженер: красный кирпичный корпус новой мастерской, застекленные огромные окна и множество всяких станков, прессов, кнопок...

Возле табельной доски прохаживался новый начальник Малютин. Он посмотрел на Лену так, словно ждал ее, словно она должна была принести что-то важное.

Лена вынула номерок, отыскала на пустой доске цифру «16» и повесила номерок на гвоздик. Ей стало вдруг смешно и весело, она украдкой взглянула на Малютина и застала начало его робкой, вопрошающей улыбки, наполненной сдержанной надеждой; так смотрят в засуху на идущую тучу. Малютин тотчас нахмурился, отвел глаза, и Лена приняла безразличный вид человека, который вешает номерок с детских лет. Она прошла мимо доски лениво, равнодушно, но через несколько шагов не выдержала и, разгоня еще нерабочую тишину, запела на всю мастерскую голосом тонким и чистым, как этот просквозивший за ночь холодный и ясный воздух:

Говорят, что некрасива,
Это, девушки, вопрос.
Некрасива, да красивому
Натягиваю нос...

Первыми явились на работу ближние — ноговские. Номерки вешали, посмеиваясь друг над другом; кое-кто позабыл их дома, отдал ребятишкам. Игорь видел, что для многих табель кажется его личной прихотью, чем-то вроде детской игры. В четверть десятого Игорь закрыл доску. Там висело двадцать шесть номерков из сорока девяти. К десяти часам подошло еще человек восемь, потом в течение дня на попутных машинах подъезжали одиночки. Тринадцать человек вышли на работу только во вторник.

Игорь собрал производственное совещание. Терпеливо, уже не в первый раз, объяснил он, зачем вводится табель, какое значение имеет трудовая дисциплина, — мастерские есть государственное предприятие, механизаторы не сезонники, а рабочие. Он попробовал выяснить, есть ли какие возражения против табеля. Никто ему не отвечал, все сидели, курили, вертели шапки в руках и молчали.

Игорь привык к своим заводским собраниям, где настроения раскрываются немедленно, где оратору подаются реплики, смеются, топают ногами, аплодируют. Что-то, но производственные дела на заводе обсуждали бурно, страстно, никого и ничего не стесняясь. Здесь же молчат, и не поймешь то ли согласны, то ли возмущены до того, что не желают даже разговаривать. Он ничего не мог прочесть в непроницаемой обыденности лиц. Вязкое молчание засасывало его слова. Он слабел, не видя перед собой противника, не слыша никаких возражений, он чувствовал, что еще немного, и не выдержит, сдастся, губы его вздрагивали, готовые к жалкой, заигрывающей улыбке, к трусливому отступлению: «Ну что ж, что мне,

больше всех надо? Как хотите...» Он судорожно искал, за что бы ухватиться, словно его затиговала эта трясина слабости.

И вдруг Игорь ощутил нечто твердое, незыблемое — довод, подсказанный ему Тоней; в самом деле, чего ему бояться, что ему терять, не выйдет — и шут с ним, уволят — пожалуйста, он уедет, еще спасибо скажет. И, бросая вызов себе и всем, не желая больше ничего ждать, он взмахнул сжатым кулаком, сменил спокойный тон на тот властный, каним умел разговаривать Лосев: всем прогульщикам будет сделан начет, хватит уговоров, отныне будут применяться самые строгие меры, вплоть до отдачи под суд.

И опять было молчание, непонятное, глухое, непроницаемое. Так и разошлись молча, попыхивая папиросками.

Только Ахrameев, отозвав Игоря в сторону, сказал:

— Поторопились вы, Игорь Савелич. Не мудрено голову срубить, мудрено приставить.

— А чего ж вы молчали, высказаться время было.

Низкорослый, коренастый Ахrameев посмотрел на Игоря так, будто смотрел на него сверху вниз, и взъерошил свои смолевые, курчавые волосы так, будто потрепал Игоря по голове.

— Не знаете вы наших собраний, у нас торопыг не любят. Зря вы со мной не посоветовались.

— А вы... — Игорь махнул рукой. — Какая разница, что бы вы ни советовали... Дисциплина есть дисциплина.

Он подзадоривал собственную решимость, но на душе у него было мутно. Насвистывая, он направился в токарную — единственный источник утешения и отрадных воспоминаний. Сутулая спина Мирошкова склонилась над станком. Усердно и неумолимо полз резец, оставляя за собой веселый блеск металла. Завивалась и, хрустя, падала радужная стружка.

— Остатний быстрорез, — сказал Мирошков, — чем дальше работать?

На спине его вопросительно выкостились лопатки.

— Да... — рассеянно отозвался Игорь. Он взял со столика отполированный цилиндрок, вытянутый по ребру зайчик сверкнул в глаз. — Что это?

Мирошков покосился из-за плеча.

— Палец для «газика».

Игорь задумчиво вздохнул.

— У нас тоже часто не хватало быстрорезов... Он переступил с ноги на ногу, тоскливо нахмурился.

— Для какого «газика»? Для нашего?

Не сходя с места, Мирошков круто повернулся к нему:

— Ну, халтура! Кому я мешаю?.. Мелиораторы заказали... Не ворую же я. Все равно на простоях сижу...

Если бы можно было пропустить это мимо ушей! Игорь не желал сейчас слушать ни про какую халтуру, не хотел ничего выяснять... Получилось так, будто он зашел сюда специально уличить Мирошкова.

Теперь уже он не имел права отмолчаться. А что он мог сказать Мирошкову? Они жили в одном доме, трое сыновей Мирошковых, один другого меньше, бегали в дырявых ботинках, ежедневно очищали чугун с картошкой и ревели здоровенными басами, когда мать кричала им: «Конфет вам? Мясца не на что купить, отец без штанов скоро пойдет, а они конфет просят. Бесстыдники! Охламоны!» Черт его дернул спросить про этот палец!

Ни разу еще с такой силой не ощущал он всю беспощадность груза своего начальствования.

— Конечно, резцов вам не хватит, если их на халтуры гонять, — сказал он, с тоской отмеривая необходимую дозу служебного порицания.

В тот же вечер, переливая молоко из бидончика в кастрюлю, Тоня случайно заметила на дне бидона мелкие железные опилки, жирные от солидола или солярки. Бидончик этот приносила из Ногова дочь Петровых и оставляла для Игоря в мастерской. Это был обычный двухлитровый алюминиевый бидончик с крышкой; утром Игорь забирал его с собой, отдавал Петровых и на следующий день приносил домой с молоком.

Тоня плеснула молоко на ладонь. В голубоватой лужице плавали черные точки опилок, окруженные желтыми маслянистыми шариками. У Тони вздрогнул подбородок, она провела рукой по щеке, взглянула на Игоря, и острая жалость уколола ее.

— Вот где настоящая классовая борьба, — вымученно засмеялась она.

Она убеждала его показать эти опилки Чернышеву, пожаловаться в партбюро, чтобы знали, какие условия его окружают.

В обеденный перерыв Игорь зашел в конторку. Он вернул Петровых бидончик и попросил вместо литра принести два, а то вчерашнее молоко пришлось вылить.

— Это почему?

— Опилки туда кто-то насыпал.

В конторке было многолюдно и шумно. Закусывали, сидя у печки, оглушительно стучали костяшками, играя в «козла», кто-то вслух читал газету; слова Игоря выстрелом пробили этот шум.

Петровых заглянул в бидончик, покачала головой.

— Во зле и соблазнах лежит мир.

— Товарищ, вероятно, считал, что железо необходимо для организма, — небрежно усмехнулся Игорь, всячески показывая, что его не запугаешь подобными штучками. Никто не принял шутку, все оставались серьезными, и ему это понравилось.

Выходя из конторки, Игорь услышал, как Ахrameев стукнул кулаком по столу и затейливо выругался.

День продолжался, обычный, копотный, лязгающий гусеницами, хлопотливо мечущийся вокруг разобранных двигателей. Он тащил Игоря на склад, заставлял отсчитывать дефицитные салники, подписывать наряды, он гонял бригадиров, он прикидывался обычным днем. Но в его подчеркнуто будничной поступи нарастала напряженность.

Каким-то внутренним зрением Игорь вглядывался в лица людей, склоненных над тисками, освещенных пламенем горна, чумазных, потных от натуги, бледных от синеватых вспышек сварки, таких разных и таких одинаковых в своей непоистинности. Кто, кто из них?.. Угрюмый Анисимов с чугуно-тяжелой челюстью, болезненно-ялый Мирошков, Ченцова, озорно играющая глазами, ворчливый Саютов?.. «За что? За что они так?..» — с мучительным недоумением спрашивал он себя. Он готов был подозревать любого, и оттого, что в каждом видел врага, он был противен самому себе.

Напряжение этого дня разрешилось бурным, путаным и неожиданным разговором, начатым Ахrameевым и Петровых подле стола, за которым Игорь проверял наряды.

— Легко казнить за грех. А ты вникни в душу человека, откуда там злоба, — смиренно, поучающе наставлял Петровых.

Ахrameев непримиримо потрянул чубом.

— Ясное дело, откуда — пережитки капитализма в сознании.

— Попка ты, прости меня грешного, — сокрушенно и снисходительно определил Петровых. — Пережитки! Тот, кто этот капитализм пережил, получше вас знает цену советской власти. Мне, считай, пятьдесят пять есть, самый что ни на есть пережиток. А видел ты меня, к примеру, выпивши на работе? Опоздал я? То-то же.

— Если опоздал, так, выходит, хуже всяких пережитков? — обиженно сказал Яльцев.

Подошли братья Силантьевы, Лена Ченцова, Сысой, Мирошков. Подхлестнутые общим вниманием, голоса крепили, скрещивались, разбегались возбужденным гамом.

— Вот он, башибузук. — Петровых ткнул пальцем в Костю Силантьева. — Намедни кричал, за что «ХТЗ» ему дали, когда этот «ХТЗ» старше его...

— Тридцать шестого года выпуска, — подтвердил башибузук.

— Ты, парень, не то что кулака, единоличника живого не видел. А кто не пережил, тому все подавай наготове. А не подашь, так и вся сознательность пропала.

— На заводах, там с семнадцатого года капиталистов не видали, а рабочий класс сознательней нас, — сказал Ахrameев.

— Там опилки не подсыпают! — крикнула Лена Ченцова.

— С рабочим тракториста не сравнишь, — тихо сказал Мирошков. — Я вот что за станком заработаю, тем и живу. — Он посмотрел на Игоря, как бы оправдываясь. — У тракториста другая линия. Жена в колхозе, корова, поросенок, участок соток тридцать. На худой конец и без МТС прокормятся. От колхоза отлепился и рабочим еще не стал...

— Поросенок тут ни причем, — внезапно обиделся Яльцев, — если у тебя рабочее сознание...

— То и поросенок у тебя сознательный, — захохотал Ахrameев.

— А ты не шути, можно и без поросенка шабашки сшибать будь здоров.

Мирошков, слабо краснея, вздернул голову, стараясь смотреть прямо и в то же время ни с кем не встречаясь глазами.

— Нет, товарищи, подсыпать стружку не просто озорство, — горячо и убежденно сказал Ахrameев.

— Вражеская выходка! — объявил Сысой.

— Какая-то контра орудует!

— Ну, уж сразу контра, — не соглашался Петровых, — скорее всего хулиган какой...

— Нет, это вылазка! — крикнула Лена Ченцова. Она вся трепетала от возбуждения.

Негодование и общий враг часто объединяют людей сильнее самых красноречивых призывов. Особенно в молодости, когда возможность борьбы заманива, как праздник, когда воображение рисует врагов, известных по книгам и кино, и не каких-нибудь там бюрократов или врачей, а тех, кто травил скот, жег элеваторы, зарывал зерно.

Случай с опилками волновал как запах пороха и звуки выстрелов. У этих молодых, не видавших коллективизации, помнящих войну лишь детьми, заговорила кровь их отцов, которые когда-то насмерть воевали с кулачем вот в этих же деревнях, дрались с немцем, партизанили в Бакаревском лесу...

— Помните, как враги насканивали на Давыдова в «Поднятой целине» — произведении Шолохова? — зазвенела Лена Ченцова. — Давыдова тоже послал ленинградский рабочий класс...

— Ишь ты, как на уроке выдает! — подмигнул Ахrameев.

Лена полоснула его уничтожающим взглядом, повернулась к Ахrameеву спиной и взяла за руку Костю Силантьева.

— ...Человек рвался к нам со всей душой, а мы? Встречаем его, как в те времена!

Петровых покачал головой.

— Твои, девушка, догадки сладки... Да, может, уезжать-то было не дюже сладко. А он поехал — вот что ценить надо.

— А у нас ему подножки ставят...

— Ставят, которые бока себе пролежали...

На Игоря смотрели с восхищением, с гордостью, с сочувствием. Это было так неожиданно, что он растерялся. Он закинул ногу на ногу. Но тотчас почувствовал всю мальчишескую глупость этой позы. Он не знал, что ему делать, куда девать руки, ноги. Было бы легче, если б его ругали. Ему стало совестно, как будто он в чем-то обманул этих людей, и каждую минуту обман может раскрыться... Подумаешь, опилки — мелкое хулиганство, он хотел сейчас, чтобы в него стреляли ночью из обреза, тогда бы он...

Игорь встал, оперся о стол; все выжидающе смотрели на него.

— У кого есть ко мне какие вопросы? — с отчаянием сказал он.

Пробежал добродушный смехок: Кто-то разочарованно вздохнул.

— Товарищи комсомольцы! — медленно, угрожающе сказал Ахrameев. Угольные глаза его посверкивали. — Надо иметь понятие. Какие наши задачи? — Он взмахнул рукой, чуть-чуть излишне картинно, за что немедленно получил отрезвляющий смехок Лены Ченцовой.

— Некоторые могут строить смешки, но опилки — это не факт, а истинное происшествие. Кое-кому не нравится дисциплина и наши рабочие порядки. Так я ответственно заявляю — у комсомольцев номерки будут висеть за двадцать минут до гудка!

...Рабочий день догорал, оставляя холодный, оседающий дым, стынущий металл моторов. День привык уходить вместе с замирающим перестуком движка электростанции, с меркнувшим светом электрических ламп, но вот стих шум станков, погасли лампочки, а он все еще оставался в мастерской, в разноголосом, то затихающем, то вновь вспыхивающем разговоре.

Вышли из мастерской вместе. Ахrameев запел «Матросский вальс», подхватить не сумели: не знали слов; несколько песен перебрали, никак не могли спеться, пока Игорь случайно не подсказал: «Крутится, вертится шар голубой». Это было уже у развилки дорог. Все остановились и не разошлись, пока не допели до конца.

— «Где эта улица, где этот дом», — пел Игорь, и ему хотелось, чтобы Тоня слышала его голос, слитый с этими нестройными, еще сбивчивыми, но дружными голосами. «Неужто это и впрямь может оказаться та улица и тот дом?» — скользнуло где-то тревожно и недоверчиво. Он усмехнулся, и все же от этой мысли остался туманный светлый след.

Домой он шел вместе с Мирошковым. На западе еще остывала желтая заря, а над головой небо быстро тяжело густой синью. Снег, весь исхоженный, в черных дырках от проваленных следов, пахнул весной. В сумерках запах идущей весны был особенно явствен.

— Игорь Савельич, — вдруг тихо сказал Ми-

рошков, — а шут с ней, с халтурой, возьму я с них быстрорезами.

Они подошли к дому. Сквозь освещенное окно виднелась большая, заставленная кроватями комната Мирошкова. За пустым столом сидели сыновья с ложками в руках. Жена Мирошкова резала хлеб.

— Сколько они платить договорились? — спросил Игорь.

— Семьдесят рублей... Вы только моей хозяйке не проговоритесь.

— Хорошо, — сказал Игорь, и ему стало обидно оттого, что никто не узнает об этом поступке Мирошкова, в газету не напишешь, даже Чернышеву не расскажешь.

— Только, чур, резцы мне, — предупредил Мирошков, — другие тоже могут постараться.

— А если в долг штучки три?

— В долг?.. Ладно.

Игорь вложил в рукопожатие все, что осталось недосказанным.

Запах весны и это огромное небо, пробитое тысячами мелких звезд, песня, что, разделившись, летела и со стороны Ногова и по дороге на выселки... Игорь остановился на крыльце. Впервые он прощался с прошедшим днем без горького чувства одиночества. Впервые он чувствовал свою силу и то, что он нужен, и то, что он что-то может.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Наутро Чернышев попросил Игоря принести сводку о ходе ремонта. Он только что вернулся из одного колхоза и опять уезжал в другой дальний колхоз, имени Чапаева. На выюшке печки дымились его мокрые перчатки. Чернышев сидел, опираясь грудью о стол. Тяжелая голова его словно продавливала плечи.

Зазвонил телефон.

— Опять авария? — спросил Чернышев в трубку. — Больше машин нет. Остальные возят корма. Государство подождет два дня, а коровы ждать не будут, им есть надо. Да, разумеется, вам отвечать не придется, вы позвонили, вы свое дело сделали. До свидания. Всего хорошего. — Он аккуратно положил трубку на рычаг и некоторое время молча смотрел в стол.

— Авария — это тот же падеж! — сказал он. — Уже пять коров...

Он поднял голову, встряхнулся, спросил, как обычно:

— Есть какие-нибудь замечания?

— Нет.

— Подождите. — Чернышев потер лоб, что-то вспоминая, взгляд его прояснел, блеснул смешливой, или это почудилось Игорю? — Значит, нет замечаний?

— Нет, — твердо сказал Игорь.

В коридоре он встретил Тоню.
— Ну, как? — спросила она, кивнув в сторону кабинета Чернышева.

— Я про опилки не сказал.
Она удивленно изогнула брови.
— Боишься?

— В том-то и дело, что не боюсь. — Игорь улыбнулся и принялся ей объяснять.

— И все-таки чего-то боишься. — Она пожала плечами. — Не понимаю.

Комсомольцы по очереди группами дежурили у табельной доски. Они встречали опоздавших целым оркестром: били в рельсу, стучали по железной пожарной бочке, провожали с частушками до бригадира. Самые упорные противники табеля, и те не выдерживали дружных насмешек. С каждым днем на доске появлялось все больше номерков, они победно блестя за провололочной сеткой, как выбитые мишени.

Но, по мере того как табель налаживался, возникали другие непредвиденные трудности. При малейшей заминке с деталями бригады поднимали шум: какой толк в ваших гудках, если потом простаиваем часами! Раньше бригады как-то сами изворачивались, добывали, выпрашивали, выменивали детали друг у друга, теперь они дружно надели на Игоря: подавай, обеспечивай, мы вовремя приходим на работу, так и ты, будь добр, покрутись.

А на складе царил неразбериха, инструментального хозяйства не существовало, поводы для простоев возникали ежеминутно. Игорь сам носился и за раздатчика, и за контролера, и за наладчика, а главным образом за добытчика.

Он ничего не успевал, ему казалось, что работа шла еще хуже, чем в первые дни по приезде. Во всяком случае, тогда он не чувствовал себя виновным во всех непорядках. Теперь же все упиралось в него, все сводилось к нему, он становился главной причиной всех задержек, всех перебоев.

— Стоим, товарищ начальник! — кричал ему через всю мастерскую Анисимов. — Осей нет, уплотнителей нет! Номерок повесили, разрешите домой идти?

Игорь с бессильной, но непримиримой ненавистью смотрел на багровое лицо Анисимова и бежал в кузницу выяснять насчет осей.

Когда человек борется один против всех, он волен в своих поступках и настроениях. Он один, у него еще нет сторонников, его правота никому еще не видна, он может сбросить ее тяжелую ношу, никто не осудит его за это, он может вовсе отказаться от нее, и никто от него не отвернется. Не раз Игорь готов был отступить от своей затеи с табелем. Если бы он был один... Но теперь поздно. За ним уже шли, в него верили. Уже одно это делало совершенно невозможным всякое отступление. Чем труднее приходилось его сторон-

никам, тем тверже он должен был держаться. Он отвечал перед ними и за них.

Сквозь задымленную полутьму мастерской он вдруг замечал блестящие глаза Лены Ченцовой, устремленные к нему с восхищением, с тревогой, с готовностью, или дружескую улыбку Ахrameва. И ему становилось легче.

Нужно было расчистить завал у склада. Игорь предложил Анисимову выделить людей из его бригады. Анисимов отказался.

— Меня ваш завал не щекочет, — сказал он. — У меня свои прыщи чесать рук не хватает. — И как бы в подтверждение он с наслаждением зачесал в лохматых волосах.

— Отстраняю вас от должности бригадира, — сказал Игорь.

Анисимов пожаловался Чернышеву.

Уважение, с каким Чернышев выслушивал Анисимова, разозлило Игоря. Кто-кто, а Чернышев, старый производственный, бывший и начальником цеха и главным металлургом завода, должен понимать, что такое дисциплина. Разве это рабочие? Это собственники. Им наплевать на производство, они ни о чем не болеют...

— Вы, как я заметил, часто сравниваете кадровых заводских рабочих с механизаторами, — сказал Чернышев. — Вы обращаете внимание исключительно на недостатки здешних рабочих. А как, по-вашему, есть у них свои положительные качества?

Игорь честно подумал и сказал решительно:

— Какне у них могут быть качества! Никаких. Известно, что рабочий класс передовой. А тут... У нас бы такого. Анисимова выставили со скоростью звука.

— У вас на заводе рабочим не приходится работать, лежа в снегу, в мороз, — жестко сказал Чернышев. — Неустроенность здесь еще возмутительная — валяются в грязи под машинами. Ни на одном заводе нет таких условий труда — без инструментов, без чертежей. Рукавицами, и теми мы не обеспечиваем. Столовой нет. Помыться негде. И ничего, не ноют. На заводе нам с вами завком голову бы за такие вещи давным-давно свернул. Нет, дорогой Игорь Савельич, лично я многое ценю в наших людях. Если угодно, готов назвать их рабочими.

— А дисциплина? — упрямо напомнил Игорь. — Рабочий человек — это прежде всего дисциплина...

Во время этого разговора в МТС приехал секретарь райкома Жихарев. Улыбаясь, он выслушал Игоря. Его жизнерадостная, краснощечная улыбка появлялась независимо от его желания, она проступала сама по себе, как румянец на его круглом лице. Не переставая улыбаться, Жихарев справился, известно ли Игорю, с какого года Анисимов работает в МТС. Игорь полез за своей записной книжкой, где на каждого из бригадиров была отведена страничка со всеми данными. Жи-

харев остановил его. В 1937 году пришел Анисимов, когда только организовывалась Коркинская МТС.

Жихарев вспомнил, как после войны, когда на полях еще повсюду валялись мины, Анисимов первым сел за трактор. Многие трактористы тогда боялись пахать, а Анисимов сам ехал туда, где было опаснее, два раза подрывался на минах, во второй раз ему ногу переломило... Сквернослов он, выпивать любит — все это так, да только МТС для него дороже, чем для иного весьма дисциплинированного товарища.

В первую послевоенную весну, можно сказать, на проволоке ездили. Никаких запчастей не было, подбирали всякое старье в утиле, на базах Главчермета, с подбитых, горелых танков приспособляли детали. Ведра простого не было, чтобы заправить трактор. А как мастерские восстанавливали! Из обгорелых бревен складывали кузницу. Жилье побито, строить не из чего. В кирпичном доме была немецкая гауптвахта, там приспособили контору. Кругом больше ни одного строения. Притащили кузов разбитого автобуса, залатали, настлали нары в два ряда и устроили общежитие. Жили коммуной — и директор МТС, и бухгалтерия, и трактористы, и Жихарев вместе со всеми там жил, он тогда инструктором райкома начинал работать.

Чувствовалось, что воспоминания эти Жихареву дороги.

— Анисимова надо понять, влезть в его душу, — сказал Жихарев. — Конечно, после всего этого он считает, что вы пришли на готовое. Думаете, ему очень приятно было ваше назначение? То-то же. Он буквально кровью проливал за нашу МТС. Старался как мог. Вам теперь этот сарай развалиной кажется. А мы мальчишками бегали смотреть на него, как на чудо индустрии. Анисимов считает себя основателем МТС. Каково ему сейчас?.. Тут вам, товарищ Малютин, надо со всей деликатностью... — Жихарев рассмеялся, обнял Игоря. — Выход для вас один: когда Анисимов увидит, что вы лучше его машины знаете и дело наладили, тут всей его амбиции конец... И вашей тоже.

Вечером Чернышев пригласил Игоря в общежитие.

Никто не объявлял собрание открытым. Никто не выбирал председателя. Чернышев повесил шляпу на гвоздь и, подтянув вытуженные брюки, уселся за широкий, выскобленный добела стол. Трактористы расположились кто на табуретках, кто на дощатых нарах, заваленных тюфяками. Большая керосиновая лампа жарко звенела над столом. На низкой плите в котелках бурлило варево.

Пожалуй, Чернышев прав... Игорь улыбнулся, пытаясь представить, что было бы, если бы комендант их общежития попробовал уложить Геню на такие нары. Он вспомнил белые салфетки на тумбочках возле кровати. Всякий раз Чернышев

оказывался прав, и это раздражало и смущало Игоря. Чернышев не навязывал своего мнения, не добивался признания ошибок. Но его доводы, соображения входили цепко, рано или поздно беря свое. И в этой вечерней беседе с трактористами он также ни к чему не призывал, не требовал никакого решения. Он подбросил несколько вопросов, и костер разгорелся.

— Нам, кривичкам, двадцать километров топать, — говорил Силантьев. — Мешок картошки попробуй понеси-ка на себе. Вот и сидишь, пока сельповская машина прихватит. Это не то, что с Ногова прибежать. Боровичские — те в свою МТС автобусом ездят.

— В Боровицкой, там порядок. Там мастерские отгрохали что твой завод!

— А до Коркина от вас сколько? — ехидно спросил Анисимов.

— Сам не знаешь?.. Считай, все тридцать.

— Небось теща твоя яйца и творог на базар в Коркино тащит, уже в шесть утра сидит, вкошет над корзиной. Без всякого гудка поспеает.

— Зимой только и отдохнешь, — сказал Силантьев, приняв защитно-насмешливый тон. — Летом нам гудка не слышать, так что мы с машины сутками не слазим.

— Ладно бы на машине, — подал голос Саютов из глубины нар, — а больше под машиной ползаем.

Чернышев сказал:

— Вот и мне кажется: отношение к ремонту в мастерских определяется тем, что главный ремонт мы начинаем весной, в борозде.

Его слова падали, как ветки можжевельника в костер, взметая ливни искр, бегучие языки огня.

Игорь обидчиво напрягся, готовый заслониться, оправдываться. Присутствие Чернышева мешало ему чувствовать себя начальником. Он плохо понимал, куда клонит Чернышев, зачем Чернышеву понадобилось привести его сюда. Чернышев вроде отдавал его на расправу бригадирам, насколько, не защищал, наоборот, — поддерживал любые нападки на Игоря. Но делал он это так странно, что никто и не заметил, как получилось — новый начальник виноват во всех неполадках и авариях прошлой годней посевной. И когда гора попреков под общий смех рухнула, у каждого осталось чувство смущенной виноватости.

Надо было как-то менять работу мастерских. За последние годы не раз приходилось ремонтировать наспех, и к этому привыкли. Теперь же никто не торопил. Хочешь, чтобы твой трактор исправно работал, ремонтируй на совесть. Но тогда подавайте нам ОТК, и порядок на складе, и майку, и столовую, чтобы домой не бегать.

...Так бывало и на заводе: поставишь станок в ремонт, по виду достаточно только два-три подшипника сменить; начнешь — глядь, у шестерни зуб выкрошен, пазы износились, вилка разболталась, и пошло одно за другим. Вскоре вокруг

голой станины навалены детали, все мелом исчерканы. Так и тут получилось. Табель, требуя заводских порядков, выявил все, что не соответствовало этим порядкам. Как будто собирались крышу перестилать, а оказалось, что и стропила подгнили, и перекрытия слабые, и венцы подошло время менять. Все увидели, какой трухлявый стал дом, а отступать некуда — хочешь не хочешь, строй заново, разобранного не соберешь.

Горделивое ощущение — вот мы боремся с врагами, кругом противники — бесследно растаяло в этом будничном, деловом разговоре. Анисимов, и тот подал голос: мы, если надо, так с зари и до темна можем работать, мужику не привыкать, — и насмешливый вызов его был направлен только на Игоря. Но теперь, после рассказа Жихарева, Игорь испытывал к Анисимову невольное хмурое уважение. С тайным огорчением он убеждался, что никаких врагов вроде и нет, кругом сидят люди, охочие до работы, которым обидно, что их мастерские хуже, чем в соседнем районе, люди, которым нужно, чтобы тракторы были хорошо отремонтированы; они готовы спать на этих черных, замасленных тюфяках, не видятся неделями с семьей... Они были готовы на все, но ворочать-то всеми этими делами должен был он. А Чернышев словно этого и добивался — ушел в разгаре споров, оставив Игоря одного среди развороченного хозяйства...

Пальцы в носке сжимало, и задник тоже стискивал пятку. Тоня, морщась, прошла по комнате. Отвыкла она от высоких каблуков. Главное же — ноги растоптала в этих кирзовых сапогах. Она всегда гордилась — ножка тридцать пятый номер. Почти детская обувь. Приподняв подол зеленого платья из креп-жоржета, огорченно повертела ногой, обтянутой тонким песочным капроном. Зеркально-черные полоски лакированной кожи, как струйки воды, обтекали черную замшу туфель. Это были дорогие, совсем новые туфли, она купила их к свадьбе. В изгибе подошва лоснилась розовой чистотой. Нога в этой туфле, в светлых чулках выглядела красивой, стройной, и Тоня развеселилась. Она прошла по комнате. Было так забавно ступать по этому полу в таких туфлях. С высоты каблуков комната показалась ей ниже. Тоня подняла руку и почти дотянулась до тесового потолка. Из-за трещин она побоялась опять ставить зеркало на пол, чтобы посмотреть подол платья издала. В зеркале она помещалась только по грудь, а если отойти, тогда голова не видна, только часть платья от выреза на груди до черного широкого пояса. «Дзик-дзик» — забренчала крышка на кипящей кастрюле.

— Простите, — сказала Тоня, — я танцую с другим.

Она протянула руки и медленно закружилась. Оборки платья раздувались зеленым полушарием.

Отвергнутые парни оборачивались вслед, грустные глаза их провожали ее фигуру, летящую по блестящему паркету зала. Дирижер оркестра искоса следил за ней. Женщины завистливо бледнели и отворачивались. «Кто это? Кто? Откуда она?» — шелестел шепот в зале. «Кто вы?» — волнуясь, спросил ее партнер. Она загадочно приложила палец к губам.

В сенях хлопнула дверь.

— Ого! Это что за маскарад?

Она подлетела к Игорю надушенная, красивая, удивительная в этой избе с керосиновой лампой. Он боялся притронуться к ней, чтобы не запачкать.

— Пригласить бы кого... Эх, сходить бы куда-нибудь, показать тебя такую. Пусть полюбуются, какая у меня жена.

Тоня расцвела.

— А что, если Писарева позвать?

Игорь снял ватник, налил в рукомойник воды.

— Только расстроим человека.

— Зайдем к Чернышевым? Меня Мария Тимофеевна давно приглашала.

К Чернышевым? Игорь помрачнел. Он попробовал рассказать Тоне, что произошло, и сразу запутался в противоречивых чувствах. Виноват, конечно, Чернышев, опытный производственник, он должен был предвидеть и учесть все последствия, какие повлечет за собою табель. А теперь и отступать некуда. В глазах людей все выглядит так, будто Игорь заварил эту кашу, ну, и сам, естественно, должен ее расхлебывать. А на это годы нужны. Правда, Игорь с его заводской хваткой справится и за несколько месяцев. Но зачем, зачем ему взваливать на себя такую обузу и ответственность! Он смутно подозревал намерение Чернышева специально втянуть его в реконструкцию мастерской, отрезать все пути к отступлению. Значит, Чернышев ценит его, это льстило Игорю, он хотел заработать похвалу этого человека, доказать ему и всем остальным, и Анисимову, и Жихареву, на что он способен. Но в то же время он не желал быть игрушкой в руках Чернышева, он порывался дать понять, что все намерения Чернышева разгаданы и Малютин не тот парень, которого можно поймать на подобные приемчики.

— А ну его, твоего Чернышева. — Он готов был ругать его последними словами. Но когда Тоня сказала: «А чего он вмешивается не в свои дела, у тебя есть начальник — Писарев, и нечего ему соваться», — Игорь посмотрел на нее с недоумением.

— Если бы Чернышев не вмешался, так меня бы съели бригадиры.

Он знал, что ему надо делать, он не знал, как это делать.

До поздней ночи он сидел за книгами.

Наставления и руководства описывали всевозможные способы организации ремонта. На заманчивых рисунках гибкие стрелки ловко напра-

вляли узлы тракторов по наиболее экономичным путям внутри мастерской, подробные чертежи расписывали оборудование каждого рабочего места. Всюду авторы распоряжались и наводили порядок в просторных кирпичных мастерских, среди аккуратных новеньких верстаков, а что прикажете делать ему в его сарае, куда не загнать больше четырех машин враз, куда «С-80» вообще не проходит через ворота? Игорь откопал из-под снега и привел в порядок установку для промывки фильтров. Согласно инструкции, ее надлежит смонтировать у окна. А если нет никакого окна и ставить ее придется в темном закутке медницкой среди паров кислоты? Тогда как?

Тоня подходила к нему сзади, обнимала, поставив подбородок на темечко, как он любил. Хотя бы кто-нибудь пришел в гости, отвлек бы Игоря! В Ленинграде они после свадьбы прятались от гостей, не хотели никого видеть, они не открывали на звонки, убегали из дому.

Ей и сейчас вовсе не скучно, ей хочется, чтобы кто-нибудь пришел только потому, что она знает, что никто не придет. Нет, главным образом из-за Игоря.

Вначале Тоня сочувствовала его возмущению — с техникой в мастерских действительно обращались варварски. Но в последнее время она перестала понимать, почему так болезненно он воспринимает здешние беспорядки, то впадает в отчаяние, то мрачно воодушевляется. С какой стати он должен отвечать за их запущенные дела? Они его ишаком считают, как будто один он обязан все тащить на себе. Наваливают на ее бедного мальчика, а у него не хватает духу постоять за себя.

Она гладила его шею, рука ее проскользнула под ворот, к голому плечу, к его горячему гладкому плечу в том месте, где проступает косточка ключицы.

— Если им не нравится, пусть подыскивают вместо тебя другого.

Она почувствовала, как в ответ дернулся мускул на его плече.

— Причем здесь это?.. А другой, значит, справится? Выходит, я неспособен?

— Ай-я-яй, обиделся!

— Ничего подобного. Раз я начал, я должен...

— Почему же должен?

— Потому что... — Его плечо отстранилось от ее руки. — Не знаю.

— Ты, наверное, наобещал?

— Ничего я не обещал.

Он почувствовал, как она недоверчиво покачала головой. Но это была и правда и неправда. Там, в общепитии, он вместе со всеми обсуждал, что именно надо сделать, за что браться в первую очередь, за что попозже. Все обращались к нему. Он не давал никаких обещаний, но кто же сделает, если не он? Ясно, что все так и поняли... И то, что Тоня почувствовала это, рассердило его.

— Не умею я крутить... вхолостую, — сказал он, — работать так работать, а не дурака валять.

Руки ее еще обнимали его шею, и подбородок касался его волос, но в этой позе уже не оставалось ласки. Тоня не шевелилась, ей не хотелось первой начинать ссору. Стоит ей выпрямиться, отойти, и они рассорятся. Тогда она спросила: выходит, она советует ему дурака валять, или, может быть, это намерение? Интересно, на кого?

— Ни на кого.

Теперь, удовлетворенная своей обидой, она отошла. Скинула туфли. Пальцы приятно заныли. Она запрятала туфли в чемодан и кротко вздохнула. Прибирая на плите, она затылком, спиной чувствовала, что Игорь сидит все так же неподвижно, глядя в стол. Пока она не подойдет к нему, он не сможет заниматься. Он нуждался в ее утешениях. Он мог тысячу раз злиться, грубить, и все же он не мог обойтись без нее. Но почему она должна подойти первая? Мужчины заботит только собственное самолюбие, им стыдно показать свою зависимость и слабость.

Тоня сняла с плиты кувшин с творогом, слила сыворотку.

— Будешь творог есть?

— Нет, не хочу.

Она улынулась: он любил творог, особенно теплый. Она вынесла кувшин в сени. Когда вернулась, он по-прежнему сидел, устало опустив голову; потертый воротничок рубашки углом торчал над его шеей.

— Сегодня телефонограмму получила, умереть со смеху! — сказала Тоня. — Представляешь: «Просим дать указания небеспокойству райисполкома поскольку мост противоречит подвозке молока», — и первая расхохоталась, следя за его светлеющим лицом.

— Ну, давай позанимаемся, потом поужинаем. — Она раскрыла учебник по комбайнам. — Отвечай: какая ширина захвата у «СК-2»?

К ней быстро возвращалось хорошее настроение. А может быть, она научилась пересиливать себя?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Войдя в кабинет секретаря горкома, Логинов сразу вспомнил все. Громадный, резного дуба стол стоял там же, у окна, на синем в желтых разводах ковре. Брюлловые львиные морды на тумбочках знакомо улыбались открытой зубастой пастью. Когда-то, слушая очередной разнос секретаря горкома, Логинов любил совать руку в эту добрую деревянную пасть. В том же углу у окна поблескивали бронзой те же часы, и так же лениво и бесшумно качался длинный лунный маятник. Прежний секретарь горкома ненавидел этот маятник и кричал астматически задышающимся басом: «Пока ты тут свои отговорочки придумываешь, он

мotaется, он ничего ждать не желает! Ты не меня упрасивай, ты попробуй упрости этого паршивца».

Ни годы, ни события не коснулись этого мира вещей. С добросовестным равнодушием они помогали Логинову вспомнить несправедливую судьбу старого хозяина этого кабинета и самого себя, и, хотя минуло всего четыре года, ему казалось, что тогда он был совсем молодым.

Угнетенный воспоминаниями, Логинов говорил с новым секретарем горкома сухо, не скрывая своей настороженности. Когда-то они были хорошо знакомы, и Логинову нравился напористый характер молодого инструктора горкома. Но сейчас, увидев его за этим столом, Логинов не в силах был побороть в себе злые вопросы. Ему вспомнились друзья, партийные работники, директора, нелепо, незаслуженно потерпевшие вместе с ним. Разумом он понимал, что не имеет никакого права спрашивать за них с нового секретаря, что отвечать должны другие люди, но других перед ним не было. Если бы сидел за этим столом человек посторонний, ничего не выдавший, но этот все знал, все происходило при нем...

Секретарь горкома долго расспрашивал, как Логинов устроился, каким нашел завод, как его там приняли. Настороженность Логинова как будто забавляла его.

— Ага, да, да, так, так, — рассеянно приговаривал он и смотрел на Логинова, беспричинно улыбаясь. Потом встал, прошелся по кабинету. — Есть такое мнение, — вдруг быстро сказал он, прервав Логинова, — вернуть тебя на должность директора. — Улыбка сияла в его маленьких, ярких глазах.

— Спасибо, — сказал Логинов, — но я не хочу.

— Да ты что? Ты что? — недоверчиво повторил секретарь горкома. Он вернулся к столу и, сгорбясь, неловко опустился в кресло. Улыбка его померкла. Логинову стало совестно, но никаких особых причин своего отказа он приводить не стал, просто он отстал, и сейчас у него нет желания снова вваливать на себя этот груз.

— Значит, желаешь удалиться на покой? — сдержанно подытожил секретарь горкома. — Не рано ли? А тебе не кажется, что со стороны это имеет такой вид, будто ты хочешь отсидеться в тишине, вдали от светской суеты?.. Или как?

Логинов молчал.

Секретарь горкома натужно покраснел.

— Обидой своей упииваешься? Вы все плохие, а я хороший?.. На кого у тебя обида? На партию? Она виновата? Или как? Зачем тогда состоять тебе в такой партии? Взял да ушел. Однако не уходишь. Значит, не на партию обида.

Логинов молчал.

— На меня?.. Ну, тогда легче. — Секретарь горкома, усмехаясь, потер высокий, открытый лоб. Морщины стекали по его усталому лицу, собираясь в глубокие русла у бледных губ.

«Сколько ему? — пробовал высчитать Логинов. — Но ведь он моложе меня на десять лет», — подумал он с внезапным сочувствием.

— А разреши тебя спросить, ради чего ты там скалой стоял на своем? — спросил секретарь горкома, напряженно выпрямляясь, пальцы его, стиснув ручки кресел, побелели. — Ради чего?

Логинов тоже выпрямился, вытянув шею. Они смотрели друг другу в черноту зрачков. И Логинов, неохотно подчиняясь, вспомнил, как его допрашивали об этом человеке, заставляя оговорить его, и как он отстаивал его так же, как и многих из тех, кто работал теперь в соседних кабинетах.

«Ага, ты вспомнил!» — обрадованно мелькнуло в глазах секретаря горкома.

«Да, вспомнил, ну и что же?» — ответил глазами Логинов.

«Зачем же ты защищал меня? Затем ли только, чтобы теперь иметь право красоваться в мучениках?»

«Ты тут ни при чем. Ты предложил мне пост директора, я отказался, считай, что ты расквитался и твоя совесть в порядке».

— Ты эти штуковины-хреновины выкидывай к черту на рога! — свирепея, закричал секретарь горкома. — Нравлюсь я тебе или нет, мне все равно! Не домработницу себе нанимаю. Ты руководить умеешь и будешь. И эту твою бодягу пора кончать... — Он неумело выругался, заглупив все ненужное, тяжкое, что поднялось в нем. От этой ругани Логинову стало легче и проще. Он вдруг увидел, что рука его засунута в деревянную зубастую пасть льва, и впервые смутился.

Секретарь горкома сделал вид, что ничего не заметил, и спокойно закончил разговор, больше ни на чем не настаивая.

Пряча друг от друга свои потеплевшие глаза, они расстались, так ни о чем и не договорясь.

От этой встречи у Логинова осталось невнятное ощущение своей вины, — нет, не перед секретарем горкома, а перед заводом. И чувство это с каждым днем нарастало.

Работа, завод оставались для Леонида Прокофьевича единственным источником радостей, смыслом существования. Жизнь неумолимо отсекала одну за другой привычки, интересы, привязанности. Редел круг прежних друзей — умирали, разъезжались, становились чужими. Незаметно отсыхали когда-то полные живых соков ветви. Происходил тот неизбежный и естественный процесс, который называется старением, или более утешительным и мудрым словом «жизнь». Этот процесс совершался независимо от всевозможных превратностей судьбы, подчиняясь прежде всего времени, совершался, повторяя все то, что когда-то происходило с отцом Логинова, а раньше с его дедом, а теперь с теми, кто начинал свой путь вместе с Ленкой Логиновым.

Когда-то он любил ухаживать за женщинами. Он умел это делать легко и весело, щедро одаряя их своей беззаботной радостью.

Когда-то он умел просиживать ночи напролет с друзьями, петь песни, вести бесконечные споры, плясать и снова спорить и утром забраться под холодный душ, смыть усталость и ехать на завод свежим, подтянутым, «как штык».

Когда-то он проводил отпуск на веслах, плыл по Чусовой, ловил форелей, спал у костра.

Когда-то у него был хороший аппетит, ему нравилось отправиться в ресторан и со вкусом, со знанием дела выбирать меню.

Все это и многое другое уходило в прошлое, становилось недоступным, и постепенно все силы и желания сводились к единственному — работе. Она осталась последним прибежищем, которое не изменяло ему, она одна устояла под натиском времени, она благодарно принимала к себе, всегда неистощимо новая, утешающая.

Теперь, оглядываясь назад, Логинов оценивал прожитые годы лишь мерной работы.

Однажды в газетном киоске он увидел сборник стихов своего земляка-новгородца; в юности они дружили, потом поэт уехал в Москву, и Логинов лишь по газетам следил за его успехами. Логинов купил сборник. Толстая книга была издана лишь два года назад, но многие стихи показались Логинову уже ненужными. Он насчитал всего десятка три стоящих стихотворений. Они обжигали неостывающим чувством, в них жили свои, выношенные, большие раздумья. Логинов подумал о себе: если отобрать в собственной жизни настоящее, то этого настоящего, вечного у него тоже наберется лишь тоненькая книжица, а все остальное — отходы, мусор, стружки. На склоне лет начинаешь ценить время. Многие оказываются неинтересным, многого не хочется — вечеринки, театр, споры; сохраняется только дело, твоя работа. Сколько наработал — столько и прожил. Он ни о чем не жалел — наверное, по-иному он жить и не сумел бы, — но сейчас ему хотелось отработать все свои прошлые праздники и «выходные». «Ценность человеческой жизни измеряется трудом» — истина эта, которую Логинов в прежние годы так часто проповедовал и которая была для него самого отвлеченной, теперь обернулась его собственным, личным выводом, он сам дошел до него.

Покидая завод, Логинов скучал. За проходной его ждала старость. Она брала его под руку, и они молча брели, обгоняемые шумливой, куда-то спешащей молодостью, равнодушные к ярким афишам премьер и блеску просторных витрин, не замечая быстрых женских взглядов из-под опущенных ресниц.

На завод старость не проникала. Ее заслоняли десятки, сотни людей, в глазах которых он, Логинов, обладал великим превосходством своего опыта, для которых он был мудрым и могучим. Он, как никто, знал любой закоулок завода, историю

каждого цеха, по неприметным вещам он мог определить ритм предстоящей недели, состояние бухгалтерского баланса, взаимоотношения начальников соседних цехов.

Повсюду Логинов обнаруживал плоды своих прошлых забот. Начальник прокатного цеха — Логинов помнил его молодым мастером в юнгштурмовке, в те дни его хотели отдать под суд за аварию на стане. Логинов поехал к прокурору, отстоял, поручился... Помнил он, как Юрьев, вернувшись с фронта, собирался идти работать в бухгалтерию: «сидеть в нарукавниках и тихо-тихо двигать костяшками на счетах, и чтобы кругом было спокойно, и все говорили бы шепотом», — и как он отговаривал его. Бывшие фабзайчата работали инженерами; вагонетки, такелажники — те, кто уходил с завода, шатаясь от усталости, стояли сейчас за пультами в чистых рубашках с галстуками...

Давно прошедшие месяцы, годы, споры на совещаниях, напряженные нервы — все продолжало жить в людях, в бетоне, в металле, в ухании кузнечных молотов. Завод бережно охранял его труд, все остальное смыло время, все остальное оказалось суетой...

Логинов жил сейчас умиротворенно и размеренно. Работа мастера доставляла ему спокойное удовлетворение.

Итог дня воплощался в штабеля блестящих выточенных деталей. Каждый прожитый час откладывался ощутимой реальностью, его можно было потрогать, пересчитать. Если Логинову удавалось лучше организовать работу, деталей выходило больше. Тут существовала простая и прямая зависимость, и это было приятно. Много лет назад в этом же цехе он работал мастером. Он вспомнил наивные станки того времени, общие трансмиссии, шелест приводных ремней, деревянные тачки, — он наслаждался сравнениями. И собственная молодость сливалась с наивным, неуклюжим цехом, вызывая добрую усмешку.

Но после разговора в горкоме это благодушное умирение исчезло, с Логиновым начало твориться нечто странное: у него нарушилось привычное видение мира. Его глаза обнаруживали прежде всего неиспользованные возможности, резервы, неполадки, обстоятельства, требующие срочного вмешательства. Мир стал колючим и беспокойным. Оплывшие котлованы недостроенной подстанции провожали Логинова грустным безмолвием, укоризненно сипели задыхающиеся от перегрузки компрессоры. Груды бракованного литья вокруг новой центробежной машины искрились рваными краями раковин. Логинов виновато втягивал голову. Разговор в горкоме лишил его права утешать себя отговоркой: я тут ни при чем, не могу помочь.

Один за другим оживали его незавершенные замыслы. Они впились в мозг, не давая покоя, и ночью он часами ворочался без сна, представляя себе, как в третьем цехе можно своими силами

изготовить щитки, вместо того чтобы ждать их с Урала; он анализировал лихорадочный график сборки: «Сперва спячка, потом раскачка, потом горячка...» Мысленно издавал приказы, переставлял людей, налаживал, перестраивал, и график медленно сглаживался, вытягиваясь в спокойную прямую. Это было так заманчиво, так достоверно, что постепенно становилось второй жизнью.

Он задерживался у переезда, наблюдая за разгрузкой железных листов и щуря глаза в суровом обводе морщин.

Требовалось напрячь всю волю, чтобы отделить реальное от желаемого и удержаться от соблазна ткнуть начальника мартеновского цеха в беспорядки на шихтовом дворе. Логинов заходил в конструкторское бюро, и его подмывало сказать: «А ну-ка, братцы, отправляйтесь на сборку и помыкайтесь сами со своими огрехами».

Было нестерпимым знать, что следует делать, и бездействовать, обходить стороной, не вмешиваться.

Юрьев безжалостно растревал в нем это тягостное чувство. Он по-бульдोजьи вцепился в Логинова, теребил его с наивно-простодушным видом, подшучивая, смеясь, но не отпуская ни на минуту.

— Великолепно! Вот это идея! — с преувеличенным восторгом подхватывал он очередное предложение Логинова. — Ах, если бы ее осуществили! Увы, наше дело только подавать идеи.

— Это тоже кое-чего стоит, — говорил Логинов.

— Занятие приятное, безопасное. Максимум удовольствия, минимум ответственности...

Они достаточно любили и уважали друг друга, чтобы ругаться без боязни посориться.

С какого только боку не подступал Юрьев!

— Если бы у нас директоров выбирали, тебя бы обязательно выбрали. Это как раз тот случай, когда все мнения совпадают.

— Кроме моего... И вообще я на лесть не кляю. А ты что, считаешь правильным — устраивать выборы директоров?

Глядя со стороны, как они сидят на трубах у столовой, пожимываясь на солнышке, и курят, никто бы не подумал, что между ними идет ожесточенная схватка, от исхода которой многое будет зависеть в судьбе завода и каждого из них. Важные события, решающие переломы большей частью совершаются в самой обыденной обстановке, никто не бледнеет, никто не кричит, не заламывает рук. Все происходит просто: сидят двое, курят, разговаривают, посматривают, как работает кран на мультимовом складе.

— Ты в Зоологическом давно не был? — спросил Юрьев. — Напрасно. Великое удовольствие. Особенно жирафа мне понравилась. Ну, я понимаю, у птиц раскраска. Но у животных! А ведь красивее раскраски, чем у жирафы, я не видел!

Пытаясь понять ход мыслей Юрьева, Логинов взглянул на длинную шею крана и успокоился.

Это была передышка, во время которой они говорили о расцветке жирафов, об интеллекте слонов, а Логинов думал о том, что мультимовый склад давно следовало переместить. Но тотчас он представил себе, как начальник транспортного цеха будет жаловаться на отсутствие людей и подъездных веток, а главный бухгалтер разложит свои бумаги и потребует указать источник финансирования. И как придется уговаривать, хитрить, куда-то ездить, добиваться. Зачем ему все это?

Он не уследил, как Юрьев, покончив с жирафой, перешел на новый заказ — муфты для подъемников.

— Это ж как запонки! Нашему ль заводу возиться с такой чепухой?

— Неужели нельзя было уговорить ворошиловцев? — спросил Логинов.

— Попробуй! Только через Совет Министров. Без хозяина завод наш. С тех пор как директора перевели в Москву, главный инженер совсем запарился.

Логинов с удовольствием посмотрел на залитую солнцем, вызывающе наивную физиономию Юрьева.

— У тебя все идет хорошо, пока ты не сунешься в психологию. Насчет психологии у тебя слабовато.

— Ничего подобного, — сказал Юрьев, — я тебя вижу, как на рентгене.

— Ну, и как, глаза тебе колет?

— Не по адресу, но отбил неплохо, — рассмеялся Юрьев. Ничто не могло уязвить его упрямого добродушия.

На следующий день, встретив Логинова, он сказал:

— Можно, конечно, кости ворошить, грехи вспоминать, но я лично считаю — сейчас важнее помогать, чем вспоминать.

— Забывать тоже нельзя.

— Это так... Да только вчерашний день не догонишь, от завтрашнего не уйдешь. Ты все про память... а память дана человеку не для того, чтобы мешать ему жить.

Обладая характером твердым и решительным, Логинов всякий внутренний разлад воспринимал особенно болезненно; так здоровый, никогда не болевший человек мучительно переносит даже легкое недомогание. Много времени спустя, вспоминая смятенные колебания этих дней, он спрашивал себя: неужто в нем самом не хватало сил сделать выбор? Неужели за него все порешила чистая случайность — его приход на совещание к Ипполитову? Натуре Логинова было противно признавать власть неразумного случая над своей судьбой, случая, в котором не было и следа необходимости.

Логинов, в сущности, уступил тревожным просьбам Семена Загоды и комсорга цеха Бурилева. Ребята беспокоились за проект Веры Сизо-

вой, который обсуждался в кабинете начальника цеха. Логинов спросил у Семена, известно ли ему, что реконструкция «Ропага» потребует реконструкции и соседних станков и ударит по карману самого Семена, посадит его на это время на тариф?

— Зато какая автоматика! — восхищенно сказал Семен. — С фотоэлементами! Техника будущего! Леонид Прокофьевич, ну пойдите, вас там боятся, уважают...

Его горячая и неуклюжая лесть развеселила Логинова. Он любил этого медвежастого, хозяйственного и в то же время мечтательного приятеля Игоря. Он вспомнил интерес Игоря к «Ропагу» и, вздохнув, отправился в кабинет Ипполитова.

Там вокруг стола, заваленного рулонами чертежей, рядом с Ипполитовым сидели Лосев, Абрамов, бородатый, с трубкой в зубах, похожий на полярника технолог цеха Колесов и несколько инженеров из заводоуправления.

Лосев взглянул на вошедшего мастера недоуменно, потом недоумение сменилось беспокойством, потом ожиданием. Леонид Прокофьевич сел поодаль, у печки, положил на колени папку технологических карт. Лосев покачал головой, показывая свое недовольство бестактностью Логинова. Никто не приглашал Логинова на это совещание. Лосев имел право смотреть на него с пренебрежительным осуждением, и, признавая это, Логинов обругал себя за уступчивость. Слушая Веру Сизову, он убеждался, что Семен Загода напрасно поднял тревогу и нечего было приходить сюда. Сизова держалась уверенно, почти торжествующе, подтверждая смутное представление Логинова о ней как об излишне самонадеянной и неприятно категоричной особе. Ему не нравилось, что она обращалась преимущественно к Лосеву, ловя на его лице знак одобрения или несогласия, не нравилась манера отвечать на вопросы: Сизова щеголяла неопровержимостью своих доказательств и словно красовалась перед кем-то.

Лосев молчал. Он лениво разглядывал лицо Сизовой. Он смотрел на нее с вялой задумчивостью, как на шахматную доску, где завершается выигранная партия. Невозможно было в точности определить, что означала улыбка в углах его сочных, вздрагивающих губ. Логинов вдруг почувствовал, что Лосев не слушает Сизову. Несоответствие между поведением Сизовой и Лосева поразило его, и, начиная с этой минуты, происходящее стало наполняться пока не разгаданным смыслом, слова и жесты больше не проходили мимо его внимания, и постепенно Логинов начинал ощущать скрытое доселе напряжение окружающих. Где-то происходила или готовилась игра, цели которой он еще не угадывал. Предчувствие борьбы пробудило в нем интерес. Он не был из породы наблюдателей, ему обязательно надо было принять что-нибудь стору, вмешаться, получить свою долю туманов.

Вникнуть с ходу в тонкости проекта Логинов не мог, однако его наметанный глаз безошибочно оценил тщательность разработки. Сизова имела право держаться уверенно, рассчитывать на похвалу. И все же ее отношение к Лосеву оставалось непонятным: за кого она его принимает, за противника или за союзника? Лосев вел себя загадочно: на что он рассчитывает?

Вера видела краешек улыбки Лосева и старалась не обращать на нее внимания. Лосев был против модернизации «Ропага», но это не значило, что его можно считать консерватором или рутинером. В ее представлении существовал определенный образ консерватора, никак не схожий с деловым, энергичным Лосевым, с его веселым, гладкорозовым лицом, кожаной курткой на молниях, клетчатой ковбойкой... И не бывает так, чтобы консерватор занимал столь высокую должность и чтоб никто этого не замечал. Очевидно, Лосев просто чего-то не понимал, и Вера винила себя: ей не удалось убедить его. Если она сумеет доказать необходимость и возможность модернизации, он, конечно, поддержит проект. Не может нормальный человек идти против предложений, дающих заводу экономию, облегчающих труд. Для этого надо быть сознательным вредителем.

С убежденностью, накопленной за месяцы упорной работы, она показывала Лосеву свой «Ропаг», оснащенный автоматикой, с надежным программным управлением, с индивидуальным приводом, с быстрыми стальными мускулами. Нельзя было относиться равнодушно к этому красавцу. Она сама любовалась им, порой забывая и о Лосеве и об остальных. Она была уверена, что Ипполитов сейчас восхищенно смотрит на нее. Когда она разворачивала очередной рулон, Ипполитов заботливо прижимал к столу упругие концы ватмана справочниками и пресс-папье. Она видела его тонкие пальцы, гибкую кисть, покрытую светлыми, редкими волосами.

Выступил Абрамов, за ним Лосев. Оба говорили так, будто Вера ни о чем сейчас не рассказывала, будто на столе не лежали чертежи и расчетные таблицы. Они говорили о чем угодно, только не о существовании проекта. Абрамов во всем соглашался с теми, кто хвалил проект, и в то же время пересыпал эти похвалы мудреными теоретическими рассуждениями, коэффициентами, и все становилось сомнительным, путанным, появлялись какие-то неясные страхи, недомолвки. Лосев тоже не покушался на проект; казалось, он все понял и убедился в том, в чем Вера старалась его убедить. Он говорил, говорил, но Вера никак не могла понять, о чем он говорит; она безуспешно пыталась ухватиться за его слова, найти какое-то возражение. Слово пузырьки воздуха, поднимались вокруг нее — красивые, серебристые пузырьки, она пыталась схватить их — они, лопааясь, исчезали. Своим звучным, веселым голосом Лосев ловко упаковывал проект в мягкие, сочувственные

сомнения и ласково отодвигал его все дальше, в будущее. Когда он закончил, Вера увидела, что проекта нет. Проект исчез. Она даже не заметила, как это произошло. Это походило на фокус. Великолепный фокус. Розовое лицо Лосева улыбалось. Вере показалось, что он раскланивается.

Она посмотрела на Ипполитова. Впервые она открыто смотрела на него при всех, забыв о самолюбии, о боязни выдать себя. Сейчас ей было все равно, она молила о помощи.

Он незаметно кивнул ей и сказал Лосеву:

— За план не беспокойтесь. План цех выполнит.

Он говорил решительно. Маленькие уши его возмущенно покраснели. Он отдает должное всем замечаниям отдела главного механика, но что касается цеха, то цех поддерживает инициативу Веры Николаевны, и со стороны цеха никаких препятствий не встретится.

«Он тоже не коснулся существа проекта», — досадливое изумление скользнуло в сознании Веры и растаяло в растроганной благодарности. С тех пор как Ипполитов обещал ей устроить обсуждение проекта, она жила ожиданием этого дня. Этот день должен был стать ее триумфом. Она верила, что все, все решится в этот день. Она представляла себе, как после совещания Ипполитов пойдет провожать ее. Утром, собираясь на работу, она надела новую кофточку и клетчатую юбку. Ей хотелось прийти на обсуждение без халата, но она побоялась показаться слишком нарядной. Нижние пуговицы халата она не застегнула, крупная нежно-зеленая клетка юбки виднелась между полами.

— Несмотря на все трудности, мы приветствуем проект Веры Николаевны, — сказал Ипполитов. — Дело за вами, товарищи начальники.

Веру восхитила простота, с какой он держался на людях, будто между ними ничего не существовало. «Нет, я бы слова не сумела вымолвить в его защиту», — со стыдом подумала она.

Ипполитов с довольным видом погладил шею. У него была белая, гибкая шея. По всей видимости, Ипполитов считал свой ход неотразимо ловким: теперь ответственность за отклонение проекта ложилась на отдел главного механика. Логинов был достаточно опытный боец, чтобы не считать схватку на этом законченной. Ипполитов совершал серьезную ошибку — нельзя самому оценивать силу своих ударов.

Лосев с задумчивым интересом поглядывал то на Сизову, то на Ипполитова, что-то сопоставляя.

— Мы тоже не против, — сказал он, — только не стоит торопиться.

— А чего ждать? — спросила Вера. — Вам проект ясен? Так чего же ждать? Я вас не понимаю. Надо решать. Или — или!

— Вы не спешите, Вера Николаевна, — мягко и настойчиво повторил Лосев. — Проверьте, как у вас там с обратной связью, доработайте.

— Что именно доработать? Давайте конкретно.

— Нам понятна ваша торопливость, — много-

значительно сказал Лосев. — Жаль, что она вызвана личными причинами.

— Это еще что такое? Что вы имеете в виду?

— Не стбит.

Вера оглянулась на Ипполитова, поднялась, как бы заслоняя его.

— Нет, будьте добры. Что это за намеки? — Она вытянулась, напряглась, как леска. Это сравнение мелькнуло у Логинова, когда он подметил радость, сверкнувшую в глазах Лосева: точь-в-точь рыболов, подсекший клюнувшую рыбу.

— Непонятно? Намеки? — быстро и обиженно переспросил Лосев. — Могу разъяснить. Видите ли, Вера Николаевна, я не собираюсь рисковать интересами завода ради ваших личных дел. Понятно?

— Личных?..

«Почему она покраснела?» — удивился Логинов.

— Ах, все еще непонятно? Ну что ж, раз вы настаиваете... Вы знали, что работник нашего отдела Малютин нашел оригинальное решение для проблемы потери размеров резцов. Всего этого узла, который у вас решается с помощью обратной связи и всяких ненадежных импульсов. По вашей инициативе Малютин услал с завода как раз в то время, когда у него все уже было на мази. Любопытное совпадение! Я не желаю копаться в этой некрасивой истории. Наше дело инженерное. Я хотел лишь, чтобы товарищи поняли, чем вызвана торопливость Веры Николаевны. Вы спешите доказать, что Малютин не имеет отношения к проекту: вот, мол, и без него проект уже готов. Вам надо восстановить свою репутацию. Но для нас это не основание пороть горячку. Может быть, цех заинтересован рискнуть ради вас своим уникальным станком. А ведь в два счета можно угробить станок. Если для начальника цеха личные дела Сизовой важнее производственных... Ну что ж, дело хозяйское. Наш долг — предупредить...

— С чего вы взяли, Георгий Васильевич? Мы, по-моему, с вами всегда в контакте действуем, — поспешно сказал Ипполитов.

Глаза Веры расширились. Она крепко схватилась за спинку стула и не отрываясь смотрела на Ипполитова. Технолог Колесов ожесточенно задымил трубкой, за сизым облаком дыма послышался его хриплый голос. При чем тут Малютин? Проект вроде подходящий. Надо за проект и держаться. При новом режиме потребуются наладить цеховой транспорт. Крановое хозяйство подтянуть. Этот вопрос давно уже возникает...

— Вот и надо все обдумать, — сказал Ипполитов. — У нас не горит. Вера Николаевна подрабатывает...

Вера поймала взгляд Ипполитова, но он плавно поднял глаза выше, поверх ее головы. Она смотрела, как двигались его маленькие губы, и уже ничего не слышала. В ней все остановилось. Ее лицо было неподвижным, она чувствовала непо-

движность своей холодной кожи. Она следила за своими руками — они не дрожали. Она собиралась возражать Лосеву, спорить с ним, защищаться. Но слова Ипполитова словно парализовали ее. Когда кто-нибудь говорил, Вера смотрела, как движутся губы. Самый маленький рот у Ипполитова. Она раньше не замечала, какие у него маленькие, быстрые губы. Она помнила только их вкус. Это было однажды...

Чье-то прикосновение заставило ее вздрогнуть. Перед ней стоял Леонид Прокофьевич. Обращаясь то к ней, то к Ипполитову, он предлагал начать с первого этапа, бесспорно выгодного, — установить индивидуальный привод, получив ускоренные ходы; голос его звучал сочувственно и требовательно.

— Нет, нет. — Она торопливо принялась сворачивать чертежи. — Не надо. Потом, потом.

Она сворачивала чертежи в тугую трубку, один за другим. Упрямая бумага шумела, вырывалась из рук.

— Угостите папироской. — вдруг услышала она голос Ипполитова. Затем он же сказал: — Ах, «Звездочка». Нет, спасибо. Я «Беломор» курю.

И сразу, словно в щель, приотворенную Ипполитовым, ворвался голос Лосева:

— Неужто, Вера Николаевна, вы никого другого, кроме Малютина, не нашли, чтобы послать в деревню?

Вера посмотрела на него. С укоризненно-задушевным видом он вздохнул, показывая, что не только по служебной линии, но и просто как частное лицо, как Лосев, он тоже осуждает Веру. Он поставил пресс-папье на место. Рука у него была розовая, гладкая, как обмылок.

— Как вы можете... разве я из-за этого? — Она не понимала, зачем она это говорит. Но теперь это уже не имело значения. То, что было Верой Сизовой, то существо, зажав уши, закрыв глаза, скрючилось где-то внутри ее тела, которое двигалось, говорило независимо от нее. И ей было все равно, что оно там делает, это существо, она не имела к нему никакого отношения. Она старалась ни о чем не думать, ничего не слышать, ей лишь хотелось скорее уйти, уйти отсюда.

Ипполитов шагнул было за ней, но остановился возле Абрамова.

— Угостите папироской... Ах да, у вас «Звездочка». — Он махнул рукой. — Вообще-то «Роп» нас сейчас не лимитирует. В конце квартала, там, конечно, подсыплют...

— Эх, братцы-цеховички, — засмеялся Лосев. — Без перспективы вы мыслите. Допустим, модернизировали вы вашу карусель. Завтра же вам план увеличат. Это факт. Автоматика заказывает. А план ни-ни. Выполняйте! Детали с «Роп» поступают в термическую. Вы начнете термистам вдвое больше подкидывать. Так? А у них и без того перегруз. Что ж, они спасибо вам скажут? Под топор их подведете.

— Их или вас? — спросил Логинов.

— Меня тоже! — весело согласился Лосев. — А у меня фондов на материалы нет, чтобы перестроить печи. Пока меня обеспечат, они вас до пятого колена проклянут... Эх, Сизова, Сизова, такого парня услал! Талантливый у вас племянник, Леонид Прокофьевич. Я всячески добивался, чтобы оставили его.

— Интересно, как бы вы тогда боролись с Сизовой?

— Ну вот, боролись... За кого вы нас считаете? Я в модернизации заинтересован больше, чем Сизова. С меня спрашивают, а не с нее.

— За «Роп»-то с вас не спросят?

— Его у нас в плане нет, Леонид Прокофьевич, — вмешался Абрамов. — Если бы это была наша инициатива... — Он осекся под злым взглядом Лосева.

— Ага, поэтому гони зайца дальше! — подхватил технолог Колесов.

Логинов медленно улыбнулся.

— Вы думаете, что нам так важно приписать эту модернизацию себе? — глядя на Логинова, сказал Лосев. — Это еще надо доказать. Мы свой план всегда выполним. Прицепим к станку какие-нибудь выключатели, и нам засчитают модернизацию.

— Лишь бы числилось, — сказал Логинов. — А что получит производство неважно. Так?

Лосев вдруг с негодованием выпрямился, губы покраснели.

— Ну, это слишком! Нехорошо, некрасиво, Леонид Прокофьевич! Вы и меня обижаете и весь отдел, и зря. Честное слово, зря! — повторил он убежденно. — Никаких оснований у вас нет. Бьешься, бьешься... Критиковать снизу — самое милое дело. Только это не критика... — Несомненная искренность его чувства озадачила Логинова.

— Я не хотел вас обидеть, — с некоторым замешательством сказал он. — Почему вы так поняли, я...

— Нет уж, Леонид Прокофьевич, я все точно понял, — твердо сказал Лосев, ободренный смущением Логинова. — Нехорошо свою озлобленность к работе примешивать. Вам, видно, все равно, кого защищать, лишь бы показать, какие плохие люди — руководители. Вот, мол, как плохо тут стало. Прозрачная у вас политика! К вам относятся со всем уважением, а вы? После того, что вы тут слышали про Сизову, вы еще берете ее под защиту. Странно. Даже неприятно себе представить. Нет, дорогие товарищи, новую технику давайте будем двигать чистыми руками...

Логинов рассеянно щурился, занятый своими мыслями. Только к последней фразе он прислушался.

— Правильно, — он сказал это медленно и положил руку на телефонный аппарат. От этого непроизвольного властного движения Лосев вздрогнул и вынул руки из карманов, но уже в следую-

щее мгновение, опомнясь, вызываясь усмехнулся.

— Критикуете? Критикуйте! — По глазам Логинова Лосев понял, что от того ничто не ускользнуло, и ответил ему взглядом, полным откровенной, беспощадной ненависти. Он не в силах был ее скрыть и не желал скрывать, мстя себе за свой позорный испуг.

— Вы мастер, мастер участка. — Он выговаривал эти слова с наслаждением. — Критикуйте, весьма полезно, особенно в вашем положении. Это утешает...

Логинов задумчиво кивнул и направился к двери.

Цеховая контора помещалась на втором этаже, с открытой лестничной площадки открывался вид на главный пролет цеха. Огороженная поручнями площадка железной лестницы висела капитанским мостиком. В прозрачной синеве мчались, поблескивая сотни станков. Стальные поручни мелко дрожали под руками Логинова. Он стоял, широко расставив ноги, хмурый, весь словно сжатый в кулак. Внизу, прислонясь к бетонной колонне, стояла Вера Сизова. Мертвенная, серая застылость ее лица потрясла Логинова. Когда-то он видел такое же лицо... И все это уже когда-то было: вот эти перила, и цех внизу, и он, в той же позе; только перила не дрожали, они жгли холодом, они были липкие от мороза, и в цехе была тишина. Логинова вызвали с фронта. В обкоме ему сказали: принимай завод, фронту нужны мины и снаряды. Вот здесь, в главном пролете, собрались те, кто не был эвакуирован, те, кто уцелел от бомбежек, те, кто мог ходить. Свет сквозь замасленные синькой окна делал опухшие от голода лица людей мертвенно-голубыми. Они смотрели на Логинова и ждали. Что он мог обещать им? Ничего — ни хлеба, ни тепла, ни света. Только работу. Под обстрелом, под снегом, летящим в пробитые стены цехов. Насколько проще и легче ему было на фронте, в окопах под Пушкином! Там по крайней мере он мог стрелять.

Он научился в ту зиму угадывать слова по движению губ. У людей не хватало сил перекричать шум станков. Не хватало сил стоять у станка — не держали ноги. Стояли, опираясь на костыли, подвязывали себя веревками к кронштейнам. Не хватало электроэнергии. Четыре человека полдня тащили на санках заготовки со склада в цех. Каждый выточенный корпус снаряда был чудом, и это придавало новые силы людям. Сквозь все прошедшие годы виделся Логинову сияющий восторгом и верой блеск расширенных голодом глаз на серых, отечных лицах.

У него было такое чувство, словно тот военный митинг продолжался. Возле станков лежали не корпуса снарядов, а корпуса фильтров для насосов. Но это тоже, в сущности, снаряды.

Из конторы вышел Лосев, сопровождаемый Ипполитовым и Абрамовым. Лосев что-то расска-

зывал, они смеялись. Они прошли мимо Сизовой и двинулись по главному пролету. Электрокары сворачивали, уступая дорогу широкоплечему, уверенно шагающему Лосеву. Он поднял руку, приветственно помахал старику Коршунову и лихо сдвинул набок мерлушковую кубанку. Он проходил мимо расточного станка, там, где в 1942 году упала бомба. За станком тогда работал свояк Логинова, отец Игоря. Осколком ему разворотило живот. Станок продолжал вертеться. Когда Малютин уносили, он зло простонал, глядя на Логинова: «Ну, чего же ты?» — и мотнул головой на станок.

Логинов видел сейчас все сразу совмещенным во времени, — и тот старый, довоенный цех с трансмиссиями, и цех, разрытый снарядами, с ледяными наростами на фермах и Лосева, который шел мимо умирающего Малютина, и Веру, маленькую, несчастную, с пепельным лицом, возле бетонной колонны.

«Ну, что же ты?» — спрашивала она Логинова.

Стены цеха растаяли. Он увидел завод на берегу залива, город, пропахший железом и дымом, неутоимый, склоненный над тысячами станков и аппаратов, стоящий у пультов, у печей, — его миллионы рук, держащие лопаты, отбойные молотки, рейсфедеры, кисти. Перед ним возникали друзья, знакомые, однополчане, живые и те, кого он давно похоронил; те, что погибли в войну; он вспомнил вдруг, как уже директором, будучи в командировке в Париже, видел он из окна гостиницы разгон демонстрации рабочих. Он снова услышал завывание полицейских машин, крики избиваемых. Его номер был в первом этаже гостиницы. Прямо перед окном, внизу на мостовой, двое полицейских, схватив за руки маленького человека в очках, молча били его короткими, белыми дубинками. Человек, вскрикивая, отворачивал лицо. На щеках, на подбородке его поблескивала седоватая щетина. Было какое-то мгновение, когда он встретился глазами с Логиновым, стоявшим у окна. «Ну, что же ты?» — крикнули глаза этого человека. Логинов, бледный и потный, заставил себя выстоять до конца...

Он вспомнил еще одну, совсем иную встречу в Париже. Рано утром они с товарищем шли пешком на завод, где принимали станки, и остановились, разговаривая, у огромных павильонов Центрального рынка.

— Вы русские? — обратилась к ним пожилая, осанистая женщина. — Я тоже русская, из Петербурга, — сказала она. — Как там? Правда, что Исаакиевский собор...

— Что — «Исаакиевский собор»? — спросил ее Логинов.

— Ну... — Она запнулась, вспоминая слово, удивленно моргнула и вдруг заплакала. — Боже мой, — всхлипывая, с ужасом произнесла она, — я забыла! Я забываю язык...

Она уже разучилась свободно говорить на родном языке, а Логинову кажется, что революция была совсем недавно, митинги в этом вот цехе, броневики на улицах. Годы сжались, сливались в единый поток — доты здесь, у Нарвской заставы, во время блокады; залпы салютов Победы над Невой; отмена карточной системы... Революция продолжалась, она не кончилась, она идет в Китае, во Франции и здесь, в третьем механическом. Они проходили мимо него, его фронтовые друзья, погибшие от бомб и от голода, его сверстники по Промакадемии — парни, с которыми он впервые сажился за Маркса, Игорь с Тоней, они махали из окна вагона; старик подпольщик, который недавно в ЦК восстанавливал его в партии. «Ну, что же ты?» — спрашивали они все. — Ну, что же ты стоишь в стороне? Они ждали ответа, и Вера, стоящая там, внизу, в тени колонны, и Юрьев, и Семен Загода с ребятами...

Время исчезло, оно лишилось всяких примет, ничто больше не обозначало его хода. Может быть, прошло полчаса, а быть может, полгода. Не было ни мыслей, ни желаний, только тяжелая усталость, которой наливались ноги. Выступ колонны скрывал Веру от непрошенных взглядов. Она неотрывно смотрела на железную лестницу, ведущую в контору цеха. На ней появлялись и исчезали люди, неслышные и безликие, как тени. Когда на лестницу ступил Ипполитов, Вера отделилась от стены и окликнула его. Она постаралась объяснить ему все как можно подробнее. Если бы он понял ее, остальное не имело бы значения: можно перенести любое, если он поверит ей. Она смотрела на него доверчиво раскрытыми глазами, так, чтобы он мог увидеть ее всю, до самого дна. Возможно, со стороны ее действия можно истолковать в том смысле, в каком преподнес их Лосев. Она готова допустить, что Лосев искренне заблуждается. Но ведь Лосев — посторонний человек, который ее не знает. А он, Ипполитов, как он мог хоть на минуту поверить ему! Нет, она и его ни в чем не винит, но сейчас, когда она все рассказала, он понимает? Ей ничего не надо, только бы он понял. Он единственный человек на земле, перед кем ей надо оправдаться. Остальные неважно, пусть думают что хотят; она-то знает, что ничем она не поступила против своих убеждений.

— Не волнуйся, на тебе лица нет, — сказал Ипполитов. — Поправь волосы, неудобно, на нас смотрят... Давай попозже. Ну хорошо, я верю, верю тебе! Только учти — Лосев не из тех, кто заблуждается, он может и подтасовать любые факты, с ним лучше не связываться. Во всяком случае, сейчас тебе не стоит затевать с ним драку. У тебя положение невыгодное. Посуди сама: опровергнуть Лосева тебе нечем, и всякое твоё выступление против Лосева расценит как месть. Раз

уж так получилось, не торопись, не рискуй. В такой ситуации малейшая ошибка с проектом загубит дело.

— Господи! — тихо сказала Вера. — Разве я об этом?

Слова ее мешались с мыслями. А вдруг многое из того, что мелькало у нее в голове, она не сказала?

Ипполитов громко поздоровался с кем-то.

— Вера, несмотря ни на что, я не желаю тебе зла. Послушайся моего совета. Я опытнее тебя.

— Подожди, я ничего не понимаю... — Она, мучительно морщась, потерла висок. — О чем ты говоришь? Почему ты все о другом?..

— Ты сейчас неспособна ничего слушать, — с подчеркнутым терпением сказал он. — Поговорим в другой раз.

— Нет, нет! Прости меня! Пожалуйста, говори. Я не могу уйти от тебя так. Алеша, мне нужно одно: ты веришь мне? До конца веришь? У тебя никаких сомнений не осталось?

Раздраженные утешения... Округлое движение рук. Милосердно опущенные глаза...

Вера поймала его руку.

— Зачем ты хитришь? Это нечестно!

— Ах, нечестно?.. Я хитрю? А ты? Ты не отрицаешь, что кандидатуру Малютина выдвинула именно ты, и ты настаивала на ней? Хочешь знать, почему? Ты ненавидишь Тоню. Ты боишься ее. Что, неправда? Лосевские догадки — это чепуха. Ты обрадовалась возможности удалить Тоню. Чем она виновата? Ты этим ничего не добьешься. Уверю тебя. Наоборот... — Он боязливо поглядел на ее лицо. — Ты сама вынудила меня. Я не хотел сейчас ничего говорить. Это наше с тобой частное дело. Возможно, ты не отдавала себе отчета в своих чувствах. Бывает так, что человек действует подсознательно...

Она долго шла через весь цех к выходу. Руки ее висели, длинные, нескладные руки. Она вдруг ощутила всю свою угловатую, некрасивую фигуру, острые ключицы, проступающие под кофточкой. Чучело, огородное чучело в ярко-зеленой, клетчатой юбке. Заплакать бы. Как бабушка успокаивала: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Плакать до тех пор, пока вместо слез останется всхлипывающая боль.

Она остановилась в полутемном тамбуре у цеховых ворот, не понимая, куда идти, что делать.

— Посторонитесь, гражданочка! — крикнула вахтерша, открывая ворота.

Грузовик, громахья железом, въезжал в цех.

Никому не было дела до ее переживаний. Женщины на улице сбивали лед с путей. В закулке между цехами ремесленники разбирали огнеупоры. Некуда было скрыться, остаться одной. И уйти она не могла. Ее ждали в металлургической лаборатории, надо было принести им новые

режимы. В инструментальном — заказать тягу для выключателя. Вечером — заседание комсоров о месячнике рационализации. Хочет она или не хочет, она должна идти, говорить, смотреть чертежи, что-то отвечать, что-то считать. Что из того, что стрелка часов сломалась? Механизм продолжал работать, заставляя обломки двигаться.

Эта спасительная беспощадность держала ее, как держат корни разбитое молнией дерево; она держала ее как костыли, как земное притяжение.

Из комитета Вера вышла вместе с Геней Рагозиным. Она чувствовала себя разбитой, на улице она взяла его под руку. Он смугился от удовольствия и принялся расписывать свои лыжные рекорды. У пивного ларька ругался пьяный. По щекам его текли мелкие слезы. Он поднимал руку с пивной кружкой и осторожно, чтобы не расплескать пиво, терся хлюпающим носом о рукав.

— Макарьев опять пошел вразнос, — сказал Геня. — Ты была права. Гнать его с завода!

— Не знаю, — сказала Вера. — А почему он пьет?.. Не знаю, ничего не знаю...

Впервые она поняла, что нельзя так легко и просто осуждать людей.

— Как по-твоему, существуют обстоятельства, при которых можно покончить с собой? — спросила она.

Ошеломление Геннадия позабавило ее.

— Не беспокойся, у меня чисто теоретический интерес.

— Самоубийство — это трусость! — с жаром заговорил Геня. — Даже в капиталистической стране человек обязан бороться до конца. Во время войны остался последний патрон. Грозит плен. Застрелиться или застрелить фашиста? Я бы лично не застрелился. Я застрелил бы фашиста. А в плену тоже можно поднять восстание. Я читал, что в концлагере Бухенвальде и то наши сумели поднять восстание.

Вера слушала его с тем же чувством, с каким недавно листала свои школьные тетрадки. Прощел трамвай. Она посмотрела вниз, на колеса, в то место, где они накатывались на блестящую сталь рельсов.

Геня проводил ее до дома. Вера села на лестничный подоконник; Геня стоял перед ней, держа ее руку в своих руках. Она не сопротивлялась. Ей было приятно, что можно еще некоторое время ни о чем не думать, не быть одной. Он что-то говорил, бледнел и волнуясь. Она смотрела на него издали, задумчиво и равнодушно. Потом он осторожно обнял ее. Рука его дрожала. «Сейчас он меня поцелует», — устало подумала Вера и закрыла глаза. Геня притянул ее к себе, поцеловал в сомкнутые губы. Откинута голова ее лежала на его руке, он целовал ее щеки, глаза, лоб. Вера

открыла глаза. Она увидела его лицо, отшатнулась, соскочила с подоконника.

— Ты дурак. Дурак! Я подлая, а ты дурак. Как тебе не стыдно? Как это все гадко! Хотел пожалеть?

Она повернулась и побежала по лестнице.

Спустя две недели Логинов, уже назначенный директором завода, вызвал Сизову.

Просьбу ее о посылке в деревню завод не удовлетворяет. Предстоят большие работы по автоматизации оборудования. В этом отношении большой интерес для завода представляет первая установка программного управления «Ропат». Решено на опыте реконструкции «Ропат» создать специальную группу электриков, конструкторов, механиков. Возглавлять группу будет она, Сизова. Сейчас важно установить моторы и все готовые элементы программника на «Ропат». Не медлить, потому что придется наверстывать к концу квартала, чтобы не сорвать план.

Сизова сидела наклонив голову. Волосы ее безжизненно свисали путанными прядями.

— Но как же вы мне доверяете? Ведь вы слышали... — Голос ее задрожал. — Нет, я не то, зачем спрашивать, — значит, вы ничему там не поверили... — Она отвернулась. — Такой группе нужна производственная база.

— Разумеется, — сказал Логинов. — Вы не будете зависеть от Лосева. Вы получите максимальную самостоятельность. Впоследствии. Пока что придется с ним кое в чем контактоваться.

Она согласно кивала, но глаза ее померкли.

— Спасибо, Леонид Прокофьевич... Только я не хочу заниматься этим.

— Почему?

Она безразлично пожала плечами. В усталых, твердых морщинках ее лица Логинову вдруг померещилась ее будущая старость — усталая и безразличная. Он представил себе, что именно эта трещина может пройти через всю ее жизнь. Его охватила тревога.

— Ого, как легко, оказывается, вас сломить... А не кажется ли вам, что Лосев этого и добивался?

Вера молчала.

— От первого удара впасть в отчаяние и отказать от борьбы, когда есть все условия! Кто разрешил вам так распускаться? Смотрите, на кого вы похожи!

— Вас лишь станки заботят, — сказала Вера. — А что изменится для меня? Ничего. Я так и останусь, измазанная грязью. Меня еще пуще станут обвинять. Зачем мне это? Ничего мне не нужно. Мне тяжело приходить на завод. Я хочу уехать. Отпустите меня.

Логинов с грохотом отодвинул кресло.

— Обидой своей наслаждаетесь? — Он захо-дил по кабинету. С непривычки он не мог долго

сидеть за столом. — Ах, я несчастная, меня оклеветали, так вот же вам, я отомщу. Не трогайте меня, я хочу жить спокойно...

Слова были его и не его. Он где-то их слышал, но сейчас ему некогда было вспоминать. Его возмущало неблагоприятное равнодушие этой девочки. Никакие доводы не доходили до нее. Взгляд ее пустых глаз сопровождал его без тени волнения или сочувствия. Так, стоя у переезда, смотрят на проходящий с грохотом трамвай. Давай ей хоть торбу с пирогами, хоть черта с рогами! Главный инженер, подготавливая проект приказа, убеждал Логинова отложить работы по модернизации, доводы его были обоснованные и разумные, — никто, в сущности, не требовал от завода разворачивать массовую модернизацию станочного парка. Имелись куда более срочные работы, и Логинов поймал себя на желании отложить приказ до лучших времен. Став директором, он на самом себе немедленно ощутил неумолимое действие многих вполне законных, но мешающих сил.

Встревоженный своими сомнениями, Логинов решительно подписал приказ. В сущности, история с Верой Сизовой подтолкнула его согласиться принять должность директора. Ему почему-то казалось, что Сизова должна это почувствовать. И вот ее признательность! Он пожалел, что здесь нет Юрьева. Пусть бы полюбовался на директорское жите.

— Поймите, появится у нас хоть один станок с программным управлением — сразу повысится общая культура производства. Станок потащит за собой, подтянет. Инженерия наша взиграет! Допустим, вы отказались, Вера Николаевна. Дальше что? Выиграл от этого завод? Нет. Работы затормозятся. Это как, справедливо? Это еще большая несправедливость.

— А я где? Я, человек?.. Вы хотите выкупить мою обиду. Мне ваши подарки не помогут, Леонид Прокофьевич. Вы-то знаете, каково жить, когда несправедливость...

Он почувствовал колющую жалость к этой девочке: ребенок, маленькая, измученная девочка.

— Вы нытик, интеллигентская хныкала! — прикрикнул он. — Не смейте распускать нюни! Какая вы, к черту, комсомолка! Вам дают возможность бороться за справедливость. А вы что, предпочитаете получить ее из чужих рук? Вот вы скажи про меня...

Она выжидающе подняла голову.

Он молчал, потрясенный пришедшим ему сравнением. Он вдруг поставил себя на место Сизовой, ясно ощутил ее мысли и чувства, потому что они были чем-то схожи с его собственными мыслями и чувствами, когда он вот так же сидел в кабинете секретаря горкома. И потом, позже, когда спорил с Юрьевым. Он глядел сейчас на себя глазами этих людей, особенно секретаря горкома, человека, к которому тогда испытывал неприязнь, вероятно, такую же, как сейчас Вера

Сизова к нему. Он понял этих людей и только сейчас мог оценить терпеливое внимание к себе. Да, он был ничем не лучше этой девочки. Индюк, надутый своими обидами. Запоздалый стыд жег его. Старый коммунист, тертый-перетертый жизнью, вел себя в точности так, как эта девочка. И с ним нянчились, его уговаривали, упрощали.

— Кроме ваших настроений, Вера Николаевна, — покашляв, сказал Логинов, — есть еще интересы завода.

С горьким удовольствием повторяя слова секретаря горкома и Юрьева, он обращался не к ней, а к самому себе.

В конце концов проще всего было заставить Сизову, и делу конец. Но он тут же вспомнил, что и с ним могли бы так же поступить: обязать в порядке партийной дисциплины. А ведь не сделали. И это было мудро. За Веру Сизову тоже надо побороться. Помочь ей понять, разобратся.

— Кстати, откуда Лосеву известно о проекте Малютина? — спросил Логинов, провожая Веру к дверям.

— Не знаю. Вероятно, он рассказал Лосеву.

— Следовательно, Лосев перед отъездом Малютину знал, что у него есть готовое решение по резцам?

— Но Лосев ведь хлопотал, чтобы Малютину оставили.

— Вы не слышали: когда Лосев хлопотал за Малютину, то ссылался на его изобретение?

— Нет, — недоумевая, сказала Вера, не понимая хода мыслей Логинова. — Нет, я не слыхала. Я знала, что Малютин работает, мы вместе с ним прикидывали кое-какие идеи, но до реального было далеко. Для меня было неожиданностью, когда Лосев сказал об этом.

— Может быть, он выдумал?

— Н-нет.

— Вы верите ему?

— Леонид Прокофьевич! Ведь он коммунист. Он главный механик. Да и зачем ему врать? И про меня он, наверное, тоже говорил искренне.

Изо всех сил она цеплялась за остатки своих прежних представлений.

— Допустим, — размышляя, согласился Логинов. — Итак, получается, что Лосев знал о проекте Малютина, никому ничего не сказал об этом и позволил ему уехать с этим проектом.

— Не знаю, не знаю, мне-то что... — машинально повторила Вера, но взгляд ее, тревожно устремленный на прищуренные глаза Логинова, ожил, остро блеснул; в глазах Логинова Вера прочитала ответ на свое смутное, только что рожденное подозрение.

В тот же день, будучи в Смольном, Логинов встретил секретаря горкома. Увидел он его в конце длинного смольнинского коридора, и, хотя Логинову надо было идти в другую сторону, он, подчиняясь безотчетному желанию, догнал секре-

таря горкома. Заслышав позади себя шаги, тот обернулся, остановился. Поздоровались.

— Ну, что скажешь? — спросил секретарь.

— Да ничего, — улыбаясь, ответил Логинов.

— Давай, давай, выкладывай свои претензии.

— Никаких претензий.

— Так не бывает, — убежденно сказал секретарь. — Раз ты директор, у тебя должны быть просьбы, жалобы и претензии.

— Ей-богу, нет... То есть, конечно, есть. — И Логинов опять засмеялся, испытывая смущение от явной странности своего поведения и в то же время уверенный в том, что секретарь горкома должен понять его.

«Чего ж тогда тебе надо? Зачем ты остановил меня?» — мелькнуло в глазах секретаря горкома, но сказать он ничего не сказал и от этого тоже смутился.

— Коли так, то есть к тебе просьба: возьми заказ для метро, — сказал секретарь, и они оба нахмурились и с облегчением заговорили о заказе.

Сверх всякого плана Метрострою надо было срочно дать несколько сложного профиля ободьев. Логинов сразу подумал про «Ропэг». Даже после частичной реконструкции изготовить на «Ропаге» эти детали можно будет за короткий срок. Но, разумеется, он ничего не сказал о «Ропаге», а, наоборот, принялся кряхтеть и жаться, рассуждая

о том, как перегружен механический парк и карусель в особенности, и какая предстоит морока с фондами, и что будет с планом. И секретарь горкома, прекрасно понимая, что иначе Логинов говорить не может, уговаривал его и доказывал, что метро — общее дело, и рабочие Октябрьского особенно нуждаются в трассе первой очереди. Он говорил ему все то, что на следующий день Логинов повторит своим инженерам и начальникам цехов, которые попробуют отбиваться теми же доводами, какими сейчас отбивался он.

Договорившись, они молча, улыбаясь, стояли друг перед другом.

— А ты помолодел, — сказал секретарь горкома. — Как будто тебя живой водицей sprysнули.

— Не sprysнули — с головой окунули! — засмеялся Логинов.

Он хотел сказать совсем другое, что-то теплое, большое, но знал, что безнадежно пытаться передать это словами, пришлось бы рассказывать и о Лосеве, и о том, какой он, Логинов, получил урок, и как он собирается воевать за Сизову, о своих размышлениях по поводу справедливости, и все равно это было бы не то, потому что то, что он хотел передать, было куда больше и сложнее, и это можно было выразить лишь молчаливой улыбкой.

(Продолжение следует)

Зав. редакцией В. Ильинков

Редактор Е. Руднева

Сдано в набор 17/II 1959 г. Подп. к печати 12/III 1959 г. А-00343. Бумага 84 × 108¹/₁₆ — 5 печ. л. = 8,2 усл. печ. л. 10,71 уч.-изд. л. Тираж 500 000 экз. Заказ № 851.

Гослитиздат. Москва, Ново-Басмальная, 19.

Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление полиграфической промышленности. Типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.

Обложка отпечатана на 1-й фабрике Офсетной печати Управления полиграфической промышленности Ленсовнархоза.